Говно
Мюнхаузена
КАЛИГУЛЯТОР.
18+

КАЛИГУЛЯТОР .

Говно Мюнхаузена

«Автор»

2026

. К.

Говно Мюнхаузена / К. . — «Автор», 2026

Лютиций, гений до мозга костей и обладатель неуёмного языка, оказывается на гигантском транснациональном кладбище «Элизиум-парк», чтобы доказать теорему бессмертия через процедуру фиктивных похорон. Вместо торжества логики он попадает в водоворот абсурда, где смерть является не финалом, а предметом бюрократического торга и изощренной лингвистической игры. Каждый диалог здесь превращается в интеллектуальную дуэль на грани помешательства, где парадоксы вскрывают истину страшнее любой могилы. Пытаясь переиграть систему, Лютиций сталкивается с «Алгоритмом Мюнхаузена» — логической ловушкой, вытаскивающей человека из небытия за волосы его же собственных противоречий. Но когда гениальность перестает быть защитой, а слово становится единственным оружием против распада, герою приходится выбирать между физическим воскрешением и сохранением рассудка. В этом мире, насыщенном русской душой, но вывернутом наизнанку вдали от России, болтливость становится способом отсрочить приговор реальности.

© . К., 2026
© Автор, 2026

КАЛИГУЛЯТОР .
Говно Мюнхаузена

Глава 1. Симфония распада по соль-диез минор

Катафалк остановился у ворот, и водитель, не оборачиваясь, бросил через плечо:

— Приехали. Дальше пешком, по регламенту.

Лютиций поправил воротник рубашки, проверил, не помялся ли пиджак, и вышел наружу. Воздух оказался на удивление свежим — не кладбищенским, не затхлым, а каким-то стерильным, словно его пропустили через сотню фильтров и обеззаразили от всех намёков на тлен. Он вдохнул полной грудью и тут же пожалел: в лёгкие проник холод, который не имел отношения к температуре. Это был холод организации, холод системы, холод, который говорит человеку: «Ты здесь — единица учёта, и не более того».

Ворота «Элизиум-парка» возвышались метров на пятнадцать — кованые, с позолотой, изображающей переплетённые ветви кипарисов и лавров. Где-то наверху, над аркой, висела надпись на латыни, но Лютиций не стал её читать. Он знал, что там написано что-то пафосное, вроде «Покойся с миром, путник», или «Оставь надежду всяк сюда входящий», или ещё какую-нибудь банальность, которую вешают на ворота кладбищ всех стран и народов. Гения не интересовали банальности. Гения интересовала теорема.

Теорема бессмертия.

Звучит, конечно, претенциозно, но Лютиций никогда не страдал от ложной скромности. Он действительно вывел её — математически, логически, философски. Три года работы, двенадцать исписанных блокнотов, четыре нервных срыва и одна защита диссертации в Тринити-колледже, которая закончилась скандалом: оппоненты не нашли ошибок, но признать его правоту означало признать, что смерть — это не биологическая неизбежность, а логическая ошибка, программный сбой в коде мироздания. Его выгнали из зала под аплодисменты, которые были громче, чем если бы он получил Нобеля. Только аплодировали не ему, а тому, что он уходит.

Теперь он стоял перед воротами гигантского транснационального кладбища, которое раскинулось на территории небольшого европейского государства, не обременённого строгими законами о погребении, и держал в руках билет в один конец. Точнее, договор на проведение «превентивных фиктивных похорон с последующей реабилитацией по протоколу "Мюнхаузен"».

Название протокола он выбрал сам. Это была его идея — назвать процедуру воскрешения именем барона, который вытащил себя из болота за волосы. Метафора казалась ему блестящей: если Мюнхаузен смог преодолеть гравитацию усилием воли и абсурда, то почему бы современному человеку не преодолеть смерть усилием интеллекта и правильно построенной речи? В конце концов, что есть реальность, как не договорённость между людьми о том, что считать существующим? А если договорённость можно изменить — можно изменить и реальность.

За воротами его встретили двое сотрудников в чёрных костюмах с иголочки. Никаких балахонов, никаких кос, никакой готической атрибутики — только безупречные шерстяные костюмы, белые рубашки и галстуки-бабочки. Они напоминали распорядителей на свадьбе, и это сходство было, пожалуй, самой жуткой деталью во всей картине. Один из них сверился с планшетом и произнёс:

— Господин Лютиций? Добро пожаловать в «Элизиум-парк». Следуйте за мной. Администратор Корнелиус ожидает вас в главном офисе.

— А где мой багаж? — спросил Лютиций. — Я сдавал чемодан при посадке.

— Ваш багаж уже доставлен в апартаменты, — ответил второй сотрудник. — Вам не о чем беспокоиться. В «Элизиуме» всё организовано так, чтобы клиент не испытывал дискомфорта ни до, ни после.

— «После», — повторил Лютиций с усмешкой. — Забавная формулировка. После чего именно?

Сотрудник не ответил. Он уже шёл впереди по дорожке, вымощенной белым мрамором, и Лютицию ничего не оставалось, как двинуться за ним.

Кладбище поражало масштабом. Оно не было похоже на те погосты, которые Лютиций видел в детстве в России, когда ещё жил с родителями в Подмосковье и иногда ездил с бабушкой на могилу деда. Там были покосившиеся кресты, ржавые оградки и вечно мокрая трава, в которой путались пластиковые венки. Здесь же раскинулся настоящий город мёртвых: широкие проспекты, уходящие за горизонт, аллеи, обсаженные туями идеальной геометрической формы, фонтаны с питьевой водой, указатели на нескольких языках и даже остановки для электрокаров, которые бесшумно курсировали между кварталами захоронений. Каждый квартал имел своё архитектурное решение: готика, неоклассицизм, модерн, хай-тек. Мавзолеи соседствовали с вертикальными колумбариями, стеклянные склепы — с зелёными холмами, под которыми, вероятно, находились подземные залы.

— Сколько здесь всего... клиентов? — спросил Лютиций, поравнявшись с провожатым.

— На текущий момент — три миллиона двести сорок семь тысяч восемьсот двенадцать захоронений, — ответил тот, не замедляя шага. — Плюс резерв в одиннадцать миллионов ячеек. Мы работаем на опережение. Демографические прогнозы, знаете ли.

— И все эти люди... умерли?

— Разумеется. Мы не принимаем живых.

— За исключением меня.

— За исключением вас, господин Лютиций. Но это временно.

«Временно», — мысленно повторил Лютиций, и это слово отозвалось в нём странным, тревожным эхом. Что именно временно? Его жизнь? Его пребывание здесь? Или его статус живого человека?

Главный офис располагался в центре кладбища и представлял собой здание в форме перевёрнутой пирамиды, опущенной вершиной в землю. Архитектор явно хотел сказать что-то о соотношении жизни и смерти, верха и низа, но получилось у него довольно пошло — такие метафоры были в моде ещё в восьмидесятых. Лютиций поморщился, но ничего не сказал. Он вообще в последние годы приучил себя не критиковать чужие концептуальные решения, если это не касалось его теоремы. Теорема — единственное, ради чего стоило открывать рот. Остальное — информационный шум.

Внутри здания пахло дорогим деревом и кожей. Пол был выложен чёрным мрамором с белыми прожилками, которые складывались в карту звёздного неба. Лютиций машинально отметил, что созвездия выложены с ошибками: Орион перевёрнут, Кассиопея сдвинута к востоку, а Большой Медведицы не было вовсе. Он хотел было указать на это провожатому, но передумал. Не стоит обижать хозяев раньше времени. Сначала нужно понять правила игры, а потом уже менять их под себя — так гласил один из его собственных принципов.

Кабинет Корнелиуса находился на минус третьем этаже — под землёй, что было уже откровенной пошлостью. Лютиций снова смолчал. Дверь открылась бесшумно, и он вошёл в просторное помещение без окон, освещённое мягким золотистым светом. Источников света видно не было — казалось, светится сам воздух.

За столом из чёрного стекла сидел человек лет пятидесяти пяти, с абсолютно лысой головой и лицом, которое можно было бы назвать приятным, если бы не одна деталь: уголки его губ были слегка приподняты, как у человека, который знает что-то такое, чего не знаете вы, и это знание доставляет ему тихое, почти интимное удовольствие.

— Господин Лютиций, — произнёс он, не вставая. — Рад приветствовать вас в «Элизиум-парке». Я — Корнелиус, старший администратор. Присаживайтесь.

Лютиций сел в кресло, которое оказалось на удивление удобным, и положил договор на стол.

— Я ознакомился с условиями, — сказал он. — Меня интересуют три пункта.

— Я весь внимание.

— Пункт первый: вы гарантируете, что во время процедуры моё тело будет находиться в состоянии глубокой гипотермии, совместимой с жизнью, но неотличимой от смерти по всем внешним признакам. Пункт второй: вы предоставляете мне доступ к протоколу «Мюнхаузен» в полном объёме, включая экспериментальные модули. Пункт третий: если я докажу свою теорему, вы аннулируете договор, возвращаете мне деньги и выплачиваете компенсацию за моральный риск. Верно?

— Абсолютно верно, — кивнул Корнелиус, и его губы растянулись чуть шире, обнажив ровный ряд белых зубов. — Вы очень точно пересказали суть договора. Почти дословно.

— Почему «почти»?

— Потому что в договоре есть ещё пункт четвёртый. Пункт, который вы, возможно, пропустили. Он напечатан мелким шрифтом на странице семнадцать, в сноске. Я не виню вас — никто не читает сноски.

Лютиций почувствовал, как где-то в районе солнечного сплетения зарождается холодный комок. Он действительно не читал сноски. Он был гением, но даже гении иногда совершают ошибки, и самая распространённая ошибка гениев — уверенность в том, что они всё предусмотрели.

— И что же там сказано? — спросил он, стараясь сохранять спокойный тон.

— Там сказано, — Корнелиус откинулся в кресле и сложил пальцы домиком, — что в случае успешного прохождения протокола «Мюнхаузен» клиент получает право на возвращение в мир живых. Но, — он сделал паузу, явно наслаждаясь эффектом, — клиент возвращается ровно в том состоянии, в котором он находился на момент начала процедуры. А на момент начала процедуры, согласно нашему регламенту, клиент должен быть мёртв.

В комнате повисла тишина. Лютиций смотрел на Корнелиуса, Корнелиус смотрел на Лютиция. Где-то в стене тихо гудел кондиционер, нагоняя в помещение тот самый стерильный воздух, который Лютиций вдохнул у ворот.

— Логическая ловушка, — произнёс наконец Лютиций.

— Именно. И должен сказать, вы первый клиент за последние десять лет, кто понял это так быстро.

— Вы хотите сказать, что я должен умереть по-настоящему, чтобы воскреснуть?

— Я ничего не хочу сказать. Я лишь констатирую факт: так написано в договоре. И так работает протокол. Это не наша прихоть, господин Лютиций. Это технологическое ограничение. Протокол «Мюнхаузен» запускается только при нулевой мозговой активности. При нулевой — понимаете? Не при пониженной, не при минимальной, а при нулевой. Если в мозге теплится хоть одна мысль, хоть один электрический импульс, система не активируется. Так было задумано создателями. Мы не можем это изменить.

Лютиций откинулся в кресле и закрыл глаза. В голове у него уже работал тот самый механизм, который когда-то позволил ему вывести теорему бессмертия. Он анализировал. Он искал лазейки.

— Если моя мозговая активность будет нулевой, — заговорил он, не открывая глаз, — то кто будет проходить протокол? Кто будет рассказывать истории? Кто будет вытаскивать себя из болота за волосы?

— Вот! — Корнелиус поднял указательный палец. — Именно это я и называю парадоксом Мюнхаузена. Тот, кто запускает протокол, не может пройти его. Тот, кто проходит его, не

может запустить. Субъект и объект процедуры не совпадают во времени. Это фундаментальное противоречие, и оно не имеет решения в рамках классической логики.

— Но вы предлагаете эту процедуру клиентам.

— Мы ничего не предлагаем. Клиенты сами приходят к нам. Сами подписывают договор. Сами ищут решение. Наша задача — создать условия. Ваша задача — найти выход. Если найдёте — честь вам и хвала. Если нет — что ж, места у нас много.

Лютиций открыл глаза и посмотрел прямо на Корнелиуса. Взгляд у него был такой, что любой другой человек на месте администратора, вероятно, отвёл бы глаза. Но Корнелиус выдержал взгляд, и его улыбка даже стала чуть шире.

— Вы ведь знали, что я приду, — сказал Лютиций. — Вы изучили мою теорему. Вы поняли, что я — единственный, кто может решить этот парадокс. И вы ждали меня.

— Мы ждём всех, — уклончиво ответил Корнелиус. — Но вас — особенно. Вы правы.

— Почему?

— Потому что скучно, господин Лютиций. Три миллиона мертвецов — это очень, очень скучно. Они не говорят. Они не спорят. Они не пытаются доказать, что они живы. Они просто лежат. А нам, сотрудникам «Элизиума», нужна интеллектуальная стимуляция. Иначе мы сами рискуем превратиться в тех, кого обслуживаем. А вы — вы живой. Вы говорите. Вы будете говорить много, я надеюсь?

— Вы даже не представляете, сколько я буду говорить, — ответил Лютиций.

Они подписали дополнительные соглашения, и Лютиций поднялся с кресла. Его провожатый возник словно из воздуха — тот самый, в костюме и бабочке — и повёл его к выходу из офиса.

— Куда мы идём? — спросил Лютиций.

— В ваши апартаменты, господин. Склеп класса «люкс», сектор семь, аллея Кипарисовая. С кондиционером, высокоскоростным интернетом и видом на фонтан.

Лютиций кивнул и последовал за провожатым. По дороге он обдумывал парадокс. Нулевая мозговая активность. Если мозговая активность нулевая, то сознание отключается. Если сознание отключается, то протокол некому проходить. Значит, протокол должен запускаться в момент, когда сознание ещё есть, но мозговая активность уже нулевая. Но как это возможно? Сознание без мозговой активности — это оксюморон, это всё равно что свет без источника, звук без колебаний воздуха, тень без предмета, который её отбрасывает.

Если только...

Он остановился посреди аллеи так резко, что провожатый, не ожидавший этого, сделал три шага по инерции и лишь потом обернулся.

— Господин?

— Ничего, — сказал Лютиций. — Ведите дальше.

Ему пришла в голову идея. Она была настолько проста, настолько очевидна, что он удивился, почему не подумал об этом раньше. Нулевая мозговая активность. Но чья? В договоре сказано «клиента». Но кто такой клиент? Клиент — это лицо, подписавшее договор. А лицо, подписавшее договор, — это Лютиций. Но Лютиций — это не только его мозг. Лютиций — это совокупность его воспоминаний, его мыслей, его слов. А слова можно записать. Воспоминания можно оцифровать. Мысли можно делегировать.

Если он запишет свои истории заранее, если он создаст цифрового двойника, который будет рассказывать их вместо него, то технически клиентом, проходящим протокол, будет он сам — но через посредника. Его мозг будет мёртв, но его слова будут жить. А слово — это ведь тоже форма существования, и кто сказал, что она менее реальна, чем биологическая?

Это был первый парадокс, который пришёл ему в голову на кладбище. Далеко не последний, как показало будущее, но первый — и от этого самый важный.

Склеп оказался просторным помещением с высоким сводчатым потолком, выложенным из серого камня. Вдоль стен стояли стеллажи с книгами — настоящими, бумажными, в кожаных переплётах. Посередине — письменный стол, кресло, торшер. В углу — кровать с балдахином, за которым пряталась саркофагообразная ванна с гидромассажем. Кондиционер тихо жужжал, нагоняя в помещение воздух с температурой ровно двадцать один градус. Интернет действительно был высокоскоростным — Лютиций проверил, загрузив за секунду полное собрание сочинений Гегеля.

— Если что-то понадобится, нажмите кнопку на столе, — сказал провожатый и исчез за дверью.

Лютиций остался один. Он сел в кресло, включил торшер и достал из кармана диктофон. Старая привычка: он записывал все свои размышления, потому что мысль, не зафиксированная на носителе, подобна рыбе, сорвавшейся с крючка — она уходит в тёмную воду и уже не возвращается.

— Итак, — произнёс он в микрофон. — Парадокс первый: субъект и объект процедуры не совпадают во времени. Решение: создать внешнего носителя сознания, который будет выполнять функцию субъекта в период нулевой активности мозга. Носителем может служить аудиозапись, текст, цифровой аватар. Вопрос: будет ли это считаться «мной» с юридической точки зрения? Ответ: да, если предварительно заверить цифровую подпись нотариально. Нотариус в «Элизиуме» должен быть. Если нет — это нарушение прав клиента, и договор можно оспорить.

Он остановил запись и задумался. В голову лезли посторонние мысли. Почему склеп такой уютный? Почему книги на полках — настоящие? Почему кондиционер настроен именно на двадцать один градус? Это ведь температура комфорта для живого человека. Но он здесь для того, чтобы умереть. Или сделать вид, что умирает. Или умереть по-настоящему и воскреснуть. В любом случае, комфорт тут не самое главное. И тем не менее — кровать с балдахином, гидромассаж, Гегель за секунду.

Кладбище заботилось о своих клиентах. Заботилось так, словно они должны были оставаться здесь надолго.

Очень надолго.

Он подошёл к книжной полке и провёл пальцем по корешкам. Кант, Гегель, Хайдеггер, Витгенштейн. Собрание сочинений Фрейда. Полный курс патанатомии. «Смерть и умирание» Кюблер-Росс. «Некрополис: город как кладбище» какого-то современного автора. Все книги были потрёпанные, с загнутыми уголками, с пометками на полях. Их читали. Предыдущие клиенты склепа оставляли свои следы.

На одной из страниц Витгенштейна Лютиций нашёл запись, сделанную мелким, бисерным почерком: «Смерть не является событием жизни. Смерть не переживается. Следовательно, говоря о смерти, мы говорим о том, чего нет. Но протокол "Мюнхаузен" требует говорить. Парадокс: нужно говорить о том, чего нет, так, чтобы оно появилось. Нужно вытащить себя за волосы из болота, которого не существует. Мюнхаузен врёт, но его ложь становится правдой, потому что он в неё верит. Вера — ключ. Но как поверить в то, чего нет? Ответ: создать это. Сначала слово, потом вера, потом реальность. Именно в таком порядке».

Лютиций перечитал запись трижды. Почерк был женский, с характерными завитками на «д» и «у». Кто-то до него уже пытался решить парадокс. Женщина, судя по почерку. И, судя по тому, что книга осталась на полке, а склеп ждал нового жильца, у неё не получилось.

Он захлопнул книгу и поставил её на место. Спать не хотелось. Есть, впрочем, тоже. Он включил компьютер, стоявший на столе, и обнаружил, что тот подключён к внутренней сети кладбища. Сеть называлась «ElysiumNet» и содержала массу полезной информации: расписание электрокаров, меню доставки еды, карту секторов и что-то вроде форума, где обитатели

склепов класса «люкс» могли общаться друг с другом. Форум назывался «Промежуток» и имел всего три темы: «Знакомства», «Технические вопросы» и «Философия смерти».

В теме «Знакомства» было пусто. В «Технических вопросах» кто-то спрашивал, как настроить кондиционер на двадцать два градуса, потому что двадцать один — слишком холодно. В «Философии смерти» шло вялое обсуждение Хайдеггера с пятью участниками, и последнее сообщение было оставлено три месяца назад.

Лютиций зарегистрировался под ником «Мюнхаузен_ноль» и написал в «Философию смерти»:

«Допустим, вы умерли. Допустим, вы воскресли. Вопрос: кто именно воскрес? Тот же самый человек или его копия? Если копия — то имеет ли она право на ваши воспоминания? Если тот же самый — то что с вами было в промежутке? И главное: был ли вообще промежуток? Время не существует для мёртвого. Следовательно, смерть — это не отрезок на временной шкале, а дырка в ней. Мы не умираем на какое-то время. Мы просто перестаём быть. А потом начинаем быть снова. Но кто начинает?».

Он нажал «отправить» и откинулся в кресле. Ответ пришёл через три минуты. Пользователь с ником «Платон_в_ссылке» написал:

«Ваши рассуждения ошибочны. Вы путаете личность и идентичность. Личность — это процесс, идентичность — это состояние. Когда вы умираете, процесс прерывается, но состояние сохраняется в памяти других людей. Воскресает не тот, кто умер, а тот, кого помнят. Следовательно, бессмертие возможно только при условии, что вас помнит хотя бы один человек. Но этот человек тоже смертен. Значит, бессмертие невозможно. Извините за прямоту».

Лютиций улыбнулся. Этот «Платон» явно был неглупым человеком. Но ошибался. И Лютиций знал, где именно.

«А если я сам себя помню? — написал он. — Что, если я создал запись, которая помнит меня? Запись нельзя убить. Запись можно копировать. Значит, моя идентичность сохранена в записи, и моя личность продолжается через неё. Это и есть решение парадокса Мюнхаузена».

Ответ пришёл почти мгновенно:

«Запись — это не вы. Запись — это текст. Текст не осознаёт себя. Текст не страдает, не радуется, не мыслит. Текст — это труп языка. Вы предлагаете воскреснуть в виде трупа?».

Лютиций хотел ответить, но в этот момент в дверь склепа постучали.

Он вздрогнул. Стук был негромкий, но отчётливый — три удара костяшками пальцев по дереву. Кто мог прийти к нему ночью, в первый час его пребывания на кладбище? Корнелиус? Обслуга? Или кто-то из «соседей»?

Он встал и подошёл к двери. Глазка в двери не было — видимо, архитекторы склепа не предусмотрели, что его обитателям может понадобиться смотреть на посетителей.

— Кто там? — спросил он.

— Сосед, — ответил голос за дверью. Голос был старческий, с лёгким акцентом, который Лютиций узнал мгновенно — так говорят русские эмигранты, прожившие за границей лет сорок-пятьдесят. — Меня зовут Платон. Мы только что переписывались на форуме. Откройте. Я принёс чай.

Лютиций открыл дверь. На пороге стоял старик лет семидесяти пяти, в клетчатом халате и тапочках с помпонами. В одной руке он держал термос, в другой — две фарфоровые чашки. Глаза у старика были живые, цепкие, с той особой искоркой, которая бывает только у людей, привыкших решать сложные интеллектуальные задачи.

— Платон_в_ссылке, — представился старик, протягивая чашку. — В миру — Платон Сергеевич Гумилёв, доктор физико-математических наук, бывший сотрудник Объединённого института ядерных исследований, ныне — бессрочный резидент «Элизиум-парка». Чай чёрный, с бергамотом. Пьёте?

— Пью, — сказал Лютиций, принимая чашку. — Но, признаться, не ожидал, что виртуальный спор так быстро перерастёт в очный.

— А я не ожидал, что кто-то в этом склепе снова заговорит, — ответил Платон, проходя внутрь и оглядываясь. — Предыдущая жиличка, знаете ли, молчала. Три месяца молчала. А потом её увезли.

— Куда увезли?

— В центральный корпус. Сказали — перевод в другую категорию. Но я-то знаю, что это значит. Из «люкса» переводят только в один филиал. Он находится метрах в трёх под землёй. — Платон усмехнулся и отхлебнул чай. — Так что ваш пост на форуме — это первое новое сообщение за три месяца. Я сразу понял: пришёл кто-то живой. По-настоящему живой. А не эти... — он поморщился, — симулянты.

Лютиций сел в кресло и пригласил Платона сесть напротив. Старик опустился в кресло с осторожностью, выдававшей больную спину, и поставил термос на стол.

— Что значит «симулянты»? — спросил Лютиций.

— Это местный термин, — ответил Платон. — Так Корнелиус называет клиентов, которые подписывают договор, проходят предварительные процедуры, но в последний момент отказываются от протокола. Они живут здесь какое-то время, ходят по аллеям, читают книги, общаются на форуме, а потом... исчезают. Одни просто уезжают, разорвав договор. Других увозят, как мою соседку. Третьих я не знаю куда. Но факт остаётся фактом: ни один человек ещё не прошёл протокол «Мюнхаузен» до конца.

— Кроме барона, — сказал Лютиций.

— Кроме барона, — кивнул Платон. — Но барон, как известно, был литературным персонажем. А персонажу легче. У него нет тела. У него нет мозговой активности. Он — чистый текст. Вы же, простите, вполне материальны.

Лютиций отпил чай и задумался. Чай был действительно хорош. Бергамот чувствовался в меру, не перебивая вкус заварки.

— Вы физик, — сказал он наконец. — Что вы знаете о нулевой мозговой активности?

— Я знаю, что это смерть, — просто ответил Платон. — Не клиническая, не обратимая на ранних стадиях, а самая настоящая, биологическая смерть. Когда нейроны перестают генерировать электрические импульсы, в мозге начинаются необратимые процессы. Через пять минут без кислорода кора головного мозга погибает. Через десять — подкорковые структуры. Через двадцать — ствол. Всё. Finita la commedia. Можно охлаждать, можно вводить препараты, можно молиться — ничего не поможет. Смерть — это точка. Не запятая, не многоточие, а точка.

— Но протокол «Мюнхаузен» запускается именно в этой точке.

— Протокол запускается, — согласился Платон. — Но кто его проходит? Вот в чём вопрос. Корнелиус говорит — никто не знает. Я пытался разобраться. Я здесь уже тридцать лет.

— Тридцать? — Лютиций поперхнулся чаем. — Вы здесь тридцать лет?

— Да. Я приехал сюда в девяносто четвёртом. Сразу после того, как меня уволили из института. Денег не было, перспектив не было, родина развалилась, а я остался в чужой стране с просроченной визой и дипломом, который никто не признавал. И тут подвернулся «Элизиум». Они предлагали контракт: я живу в склепе класса «люкс», работаю консультантом по физическим вопросам, а они продлевают мне вид на жительство. Я согласился. Думал — на пару лет. А получилось...

Он развёл руками и обвёл взглядом склеп.

— Но вы живы, — сказал Лютиций. — Вы не проходили протокол.

— Не проходил. Я — исключение. Я — обслуживающий персонал. Но за тридцать лет я видел многих, кто пробовал. И все они, — Платон тяжело вздохнул, — все они либо отказались в последний момент, либо... либо не вернулись. А те, кто вернулся, уже не были собой.

— Что значит «не были собой»?

— Я видел одного. Лет пятнадцать назад. Он прошёл протокол и вышел из лаборатории. Физически это был тот же человек. Но говорил он по-другому. Мыслил по-другому. Он не помнил, что любил кофе, хотя до процедуры пил его литрами. Он забыл, как звали его жену. Он разучился играть на скрипке, хотя до этого играл двадцать лет. Корнелиус сказал — побочный эффект. Но я знаю, что это было на самом деле. — Платон понизил голос. — Это был не он. Это была копия. Плохая копия.

— Почему плохая?

— Потому что хорошая копия неотличима от оригинала. А эта была отличима. Значит, протокол не воскрешает. Протокол копирует. И копирует с ошибками. Как старый ксерокс.

Лютиций допил чай и поставил чашку на стол. В голове у него крутились цифры, формулы, логические цепочки. Если Платон прав, то протокол «Мюнхаузен» — это не воскрешение, а копирование сознания. Но копия, даже хорошая, — это не оригинал. Следовательно, парадокс не решается. Следовательно, теорема бессмертия не доказывается. Следовательно, всё, ради чего он сюда приехал, — пшик. Ноль. Говно Мюнхаузена, а не триумф человеческого разума.

Но он не мог в это поверить. Слишком многое стояло на кону. Слишком долго он шёл к этому моменту. Теорема была верна. Он знал это. Знал каждой клеткой своего гениального мозга. Если реальность противоречит теореме — тем хуже для реальности.

— Платон Сергеевич, — сказал он. — А вы знаете, в чём заключалась ошибка того человека? Того, который копировался с искажениями?

— Догадываюсь, — кивнул старик. — Он молчал.

— Молчал?

— Да. Он решил, что протокол — это техническая процедура. Что нужно просто лечь, закрыть глаза и ждать, пока машина сделает своё дело. Он не говорил. Не рассказывал истории. Не вытаскивал себя за волосы. А протокол «Мюнхаузен» — это речевая процедура. Его суть в том, чтобы говорить, говорить, говорить, пока смерть не устанет слушать и не уйдёт восвояси. Молчание — это провал. Болтовня — это спасение. Вы, я смотрю, человек болтливый. Может, у вас получится.

Лютиций улыбнулся. Болтливым он был всегда. Ещё в детстве мама говорила: «Лютик, ты сначала думай, а потом говори». А он отвечал: «Мама, я думаю вслух, иначе я не могу думать». И это была правда. Его мысли существовали только в момент произнесения. Каждая фраза, вылетавшая из его рта, была не оформлением готовой идеи, а самим процессом её рождения. Он был гением не вопреки своей болтливости, а благодаря ей.

— Значит, мне нужно говорить, — подытожил он. — Много. Очень много. Так, чтобы моя речевая активность стала частью личности, записанной на носитель. Чтобы копия получилась точной. Чтобы оригинал и копия совпали.

— Чтобы не было разницы между оригиналом и копией, — уточнил Платон. — Чтобы копия была неотличима от оригинала не только для внешнего наблюдателя, но и для себя самой. Это трудно. Очень трудно. Даже для вас.

— Я справлюсь, — сказал Лютиций. И в этот момент он сам верил в то, что говорит.

Они просидели до рассвета, обсуждая детали протокола. Платон рассказывал о физических принципах, лежащих в основе процедуры, о том, как работает система охлаждения мозга, о том, какие препараты вводят для достижения нулевой активности. Лютиций задавал уточняющие вопросы, записывал на диктофон ключевые моменты, рисовал схемы на полях первой попавшейся книги. К тому моменту, когда за сводчатым окном склепа начало светлеть небо, у них сложился предварительный план.

План был рискованный. Он предполагал, что Лютиций действительно позволит довести свой мозг до нулевой активности. Но перед этим он запишет на диктофон несколько часов

непрерывного монолога, в котором будут изложены все его воспоминания, все его идеи, все его привычки и особенности. Затем этот монолог будет загружен в систему протокола «Мюнхаузен», и во время прохождения процедуры система будет воспроизводить запись, создавая эффект присутствия личности. Если всё пройдёт правильно, то сознание Лютиция «перескочит» на носитель, переживёт период нулевой активности и вернётся в тело после реанимации.

Это было похоже на безумную идею сумасшедшего инженера. Но в этой идее была логика. И Лютиций собирался её проверить.

— Только есть одна проблема, — сказал Платон, когда они уже стояли в дверях и прощались.

— Какая?

— Ваш диктофон. Он записывает звук. А протокол «Мюнхаузен» работает не со звуком. Он работает с... — Платон запнулся, подбирая слово, — с интенцией. С намерением. С тем, что стоит за словами. Вы можете записать всё, что угодно, но если в момент записи вы не будете искренне верить в то, что говорите, система не примет эту запись. Ей нужна живая речь. Живая мысль. Живой вы.

— Я буду искренен, — пообещал Лютиций.

— Все так говорят, — вздохнул Платон. — А потом, когда доходит до дела, человек понимает, что не может врать искренне. Что ложь, даже самая красивая, остаётся ложью. Что настоящая искренность — это не когда ты притворяешься, что веришь в свои слова. Это когда ты действительно веришь. А поверить в то, что ты вытащишь себя из болота за волосы, очень трудно. Потому что ты знаешь: это невозможно.

— Я гений, — напомнил Лютиций. — Гении верят в невозможное.

Платон ничего не ответил. Он только покачал головой и ушёл в свой склеп, который находился в трёх метрах от двери Лютиция, за поворотом галереи.

А Лютиций остался стоять на пороге, глядя, как рассветное солнце заливает мраморные дорожки «Элизиум-парка» розовато-золотым светом. Где-то вдалеке зазвучала музыка. Сначала тихо, почти неслышно, потом всё громче и отчётливее. Это был орган. Кто-то играл траурный хорал. Но через несколько тактов музыка изменилась — орган перестал быть органом, траурный хорал превратился во что-то иное, и Лютиций не сразу понял, что именно. А когда понял, то вздрогнул.

Это была симфония. Симфония, написанная в соль-диез миноре. Той самой тональности, которую невозможно сыграть на стандартном органе, потому что соль-диез минор — это тональность с пятью диезами при ключе и двойным диезом на седьмой ступени. Это тональность, которая ломает пальцы органисту и выворачивает наизнанку акустику собора. Тональность, в которой нельзя играть, но можно — умирать.

И тогда Лютиций понял: это не просто музыка. Это — настройка. Кладбище настраивало своих клиентов на соль-диез минор. На вибрацию распада. На частоту, которая резонирует с человеческими тканями и заставляет их быстрее разлагаться. Вот почему в склепе не было окон, выходящих на источник звука. Вот почему кондиционер работал ровно на двадцать одном градусе. Всё здесь было подчинено одной цели: превратить человека в труп как можно быстрее и качественнее.

Лютиций закрыл дверь и вернулся в кресло. Он включил диктофон и сказал:

— Настройка на соль-диез минор. Частота распада. Интересно, можно ли перенастроить орган на другую тональность? Допустим, до мажор. Допустим, ре-бемоль минор. Допустим, на тишину. Парадокс: чтобы выжить на кладбище, нужно заглушить музыку, которая помогает умирать. Но музыка — это тоже форма речи. Инструментальная, невербальная, но речь. Значит, я должен перекричать орган. Переговорить. Переболтать. Я буду говорить так громко, что симфония распада захлебнётся в моих словах. Я буду говорить без остановки. День. Ночь.

Сутки. Неделю. Месяц. Я буду говорить до тех пор, пока кладбище не признает мою правоту. Или пока я не умру. Но я не умру. Потому что я — Лютиций. И я уже начал говорить.

Он выключил диктофон и закрыл глаза. Симфония всё ещё звучала, проникая сквозь каменные стены склепа. Но теперь она казалась ему не угрозой, а вызовом. Вызовом, который он собирался принять.

С этой мыслью он уснул. И ему приснился барон Мюнхаузен, который сидел на Луне и плевал в колодец. А из колодца вместо воды поднималась речь. Бесконечная, неумолкающая, живая речь, способная воскрешать мёртвых и убивать живых. Речь, которая была сильнее смерти.

Глава 2. Энтропия не терпит сослагательного наклонения

Сон оборвался резко, без предупреждения, как обрывается киноплёнка в старом проекторе — не затемнение, не плавный переход, а мгновенная вспышка белого света и тишина. Лютиций открыл глаза и несколько секунд не мог понять, где находится. Сводчатый потолок из серого камня, стеллажи с книгами, торшер с абажуром цвета слоновой кости — всё это было чужим, незнакомым, лишённым контекста. Затем память услужливо подбросила вчерашние события: катафалк, Корнелиус, Платон, симфония распада. Он был на кладбище. Он был клиентом «Элизиум-парка». Он собирался доказать теорему бессмертия.

Он сел на кровати и прислушался. Орган молчал. Тишина стояла такая плотная, что её, казалось, можно было резать ножом и намазывать на хлеб. Лютиций никогда не любил тишину. Тишина для него была не отсутствием звуков, а присутствием пустоты — той самой, из которой, как он подозревал, и состоит смерть. Если жизнь — это речь, то смерть — это молчание. А он собирался молчать только в крайнем случае. В самом крайнем. В таком крайнем, который не наступает никогда.

Он встал, подошёл к столу и включил компьютер. Форум «Промежуток» встретил его одиноким сообщением от Платона, оставленным в пять утра: «Не спится. Мысли о нулевой точке. Заходите, как проснётесь. Есть новости». Лютиций быстро оделся, плеснул в лицо холодной водой из крана саркофагообразной ванны и вышел в галерею.

Дверь в склеп Платона была приоткрыта. Оттуда доносился запах крепкого чая и ещё чего-то химического — не то ацетона, не то спирта, не то лекарств. Лютиций постучал костяшками пальцев по дверному косяку.

— Входите, открыто! — раздался голос старика.

Склеп Платона оказался куда менее обжитым, чем склеп Лютиция. Никаких книг на полках — вместо них вдоль стен стояли стеллажи с лабораторным оборудованием. Колбы, пробирки, мензурки, какие-то приборы с циферблатами и мигающими лампочками, осциллограф, микроскоп, весы с точностью до миллиграмма. Посередине помещения громоздился письменный стол, заваленный бумагами, чертежами и пустыми пачками из-под печенья. Платон сидел в кресле-качалке, закутавшись в плед, и держал в руках дымящуюся кружку.

— Доброе утро, — сказал он. — Или день. Или вечер. Здесь трудно понять. Окон нет, часов я не держу, а внутреннее время у меня давно сбилось. Садитесь. Чаю?

— Не откажусь, — ответил Лютиций, присаживаясь на единственный свободный табурет.

Платон налил ему чай из термоса, и они некоторое время сидели молча. Лютиций разглядывал оборудование, пытаясь определить назначение каждого прибора. Платон следил за его взглядом с лёгкой усмешкой.

— Это мой проект, — сказал он наконец. — Тридцать лет работы. Я называю его «Регистратор интенции». Сокращённо — РИ. Он измеряет не звук, не электрические импульсы мозга, не биотоки. Он измеряет намерение.

— Как можно измерить намерение? — спросил Лютиций. — Намерение — это не физическая величина.

— В том-то и дело, что физическая, — возразил Платон. — Просто мы привыкли считать, что сознание — это эпифеномен, побочный продукт работы мозга, что-то вроде пара над чашкой горячего кофе. Но пар — это тоже физическая величина. Он имеет температуру, давление, плотность. Просто мы не привыкли его измерять. Так и с намерением. Это излучение. Очень слабое, но излучение. Когда человек хочет что-то сказать, его мозг генерирует электромагнитный импульс, который предшествует собственно речи. Этот импульс можно зарегистрировать, усилить, оцифровать. Вот чем я занимаюсь тридцать лет.

— И каковы результаты?

Платон вздохнул и поставил кружку на стол.

— Результаты неоднозначные. Я могу зарегистрировать интенцию, могу записать её, могу даже воспроизвести. Но есть проблема. Интенция, записанная на носитель, перестаёт быть интенцией. Она становится просто сигналом. Понимаете? Когда вы записываете музыку на пластинку, вы получаете не музыку, а бороздки на виниле. Музыка — это то, что происходит в голове слушателя, когда игла скользит по этим бороздкам. Так и с интенцией: запись намерения — это не намерение, а лишь его след. Протокол «Мюнхаузен» работает не со следами, а с живыми интенциями. Поэтому ваш диктофон бесполезен.

Лютиций задумался. Он прокручивал в голове слова Платона, пытаясь найти лазейку. Если запись намерения — это не намерение, то что же тогда нужно? Нужно создать устройство, которое не записывает намерение, а генерирует его заново. Нужен генератор интенций. Нужен... искусственный мозг? Или искусственная речь? Или что-то третье, чего он пока не мог сформулировать?

— Вы сказали, что можете воспроизвести записанную интенцию, — произнёс он. — Что это значит? Если вы её воспроизведёте, она оживёт?

— Хороший вопрос, — Платон оживился. — Я пытался это проверить. Я записывал собственные намерения и воспроизводил их через динамик. На осциллографе сигнал выглядел идентично. Но был ли он живым? Вот в чём загвоздка. Чтобы ответить на этот вопрос, нужно определить, что такое «живое намерение». А это философская проблема. Я — физик. Я работаю с измеримыми величинами. Но тут мы упираемся в границу между измеримым и неизмеримым, и эта граница... — он запнулся, подбирая слово, — она скользкая. Как мокрое мыло. Пытаешься ухватить — выскальзывает.

— Парадокс, — констатировал Лютиций.

— Именно. И, кажется, я знаю, как его сформулировать. — Платон взял с полки блокнот и ручку. — Смотрите. Допустим, я записал своё намерение сказать слово «жизнь». Запись — это физический объект, набор данных на жёстком диске. Теперь я воспроизвожу эту запись. Динамик издаёт звук «жизнь». Но намерение ли это? Нет. Это звук. Акустическое колебание. Намерение — это то, что превращает звук в слово. Без намерения «жизнь» — это просто шум. Следовательно, чтобы запись стала живым намерением, в ней должно присутствовать что-то ещё. Что-то, что превращает шум в слово. И это что-то — внимание слушателя. Понимаете, к чему я веду?

— Кажется, да, — медленно произнёс Лютиций. — Вы хотите сказать, что живое намерение возникает только в момент взаимодействия говорящего и слушающего. Нельзя создать живую запись в одиночку. Нужен тот, кто будет слушать. Тот, кто вдохнёт в запись жизнь своим вниманием.

— Именно! — Платон хлопнул ладонью по столу, и кружки звякнули. — Именно! Парадокс протокола «Мюнхаузен» в том, что он требует от клиента быть одновременно говорящим и слушающим. Рассказчиком и аудиторией. Мюнхаузен, который вытаскивает себя из болота, и Мюнхаузеном, который наблюдает за этим со стороны. А это невозможно для одного человека. Нужны двое.

— Но протокол рассчитан на одного.

— Да. И в этом главная ловушка. Корнелиус не говорил вам? Конечно, не говорил. Зачем ему? Чем дольше вы будете биться над неразрешимым парадоксом, тем больше данных соберут его приборы. А данные — это валюта «Элизиума». Вы не клиент, Лютиций. Вы — донор. Донор интеллектуальной энергии.

В комнате повисла тишина. Лютиций смотрел на старого физика и чувствовал, как где-то в глубине сознания начинает формироваться новая мысль — пока ещё смутная, неоформленная, но уже обладающая собственной гравитацией. Она притягивала к себе другие мысли, как чёрная дыра притягивает звёздную пыль, и рано или поздно должна была достигнуть критической массы.

— Если протокол требует двоих, — сказал он наконец, — то пусть будет двое.

— Что вы имеете в виду?

— Вы. Вы станете моим слушателем. Вы будете тем вторым, кто вдохнёт жизнь в мои слова. Вы будете внимать моей речи, пока я буду проходить протокол. И ваше внимание станет мостом между мной мёртвым и мной воскресшим.

Платон долго смотрел на Лютиция, и в его глазах читалась сложная смесь эмоций. Там был скепсис — естественный для человека, который тридцать лет бился над неразрешимой задачей. Там была надежда — та самая, которую он давно запретил себе испытывать, но которая всё равно пробивалась сквозь корку цинизма. И там был страх. Страх, который появляется у всякого, кто слишком близко подошёл к разгадке тайны, способной изменить всё.

— Вы понимаете, на что идёте? — спросил он тихо. — Если я стану вашим слушателем, я тоже стану частью протокола. Если что-то пойдёт не так, мы оба...

— Мы оба умрём, — перебил Лютиций. — Или сойдём с ума. Или превратимся в плохие копии самих себя. Я понимаю риски. Но у меня нет выбора. Я пришёл сюда, чтобы доказать теорему. Теорема бессмертия — это не просто математическая абстракция. Это... — он помолчал, подбирая слова. — Это мой способ оправдать собственную жизнь. Понимаете? Я гений. Мне говорили это с детства. Учителя, профессора, коллеги, оппоненты. «Лютиций, вы гений». А что я сделал со своей гениальностью? Ничего. Ноль. Я не изобрёл лекарство от рака, не написал великий роман, не построил летающий город. Я только и делал, что говорил. Говорил, говорил, говорил. И если моя болтовня может послужить доказательством того, что смерть преодолима, значит, я жил не зря.

Платон молча слушал, и по его лицу текли слёзы. Он не вытирал их, и они свободно капали на клетчатый плед, оставляя тёмные пятна.

— Вы знаете, почему я здесь? — сказал он наконец. — По-настоящему, а не та официальная версия про увольнение и визу?

— Почему?

— Потому что я тоже хотел доказать теорему бессмертия. Не ту, что у вас, — другую, физическую. Я считал, что смерть — это просто переход энергии из одного состояния в другое, и если правильно рассчитать фазовый переход, можно обратить его вспять. Я построил прибор. Он должен был создать поле, в котором энтропия течёт вспять. В теории всё работало. На бумаге — идеально. Но на практике... — он перевёл дыхание. — На практике я убил человека.

Лютиций вздрогнул. Он ожидал услышать что угодно, только не это.

— Это был мой ассистент, — продолжал Платон. — Молодой парень, талантливый, подающий надежды. Он вызвался добровольцем. Мы провели эксперимент. Поле включилось, всё шло по плану, энтропия действительно замедлилась, а потом... потом начался обратный процесс. Но не так, как я рассчитывал. Тело ассистента начало разлагаться в обратном порядке, но сознание... сознание не вернулось. Он превратился в биологический объект, который физически был жив, но ментально — пуст. Ни мыслей, ни речи, ни личности. Овощ. Он прожил так два года, а потом умер от пневмонии, потому что его мозг разучился управлять лёгкими.

Платон замолчал. Тишина в склепе стала ещё плотнее, ещё тяжелее. Лютиций не знал, что сказать. Он умел говорить о чём угодно, но перед чужим горем его красноречие всегда пасовало. Слова утешения казались фальшивыми, слова поддержки — банальными. Поэтому он просто молчал.

— Меня не посадили, — продолжил Платон после долгой паузы. — Ассистент сам подписал согласие на эксперимент. Но из науки меня выгнали с волчьим билетом. Я уехал из страны. Оказался здесь. И с тех пор пытаюсь понять, в чём была моя ошибка. Тридцать лет. Тридцать лет я ищу ответ. И, кажется, нашёл.

— В чём же?

— В языке. В речи. В словах. Понимаете, энтропия — это мера беспорядка. А речь — это мера порядка. Когда вы говорите, вы структурируете хаос. Вы превращаете случайный набор звуков в осмысленное высказывание. Речь — это антиэнтропийный процесс. Живая речь — это единственное, что может противостоять распаду. Не физическое поле, не электромагнитные волны, не квантовые эффекты. Только слово. Только живое, осмысленное, обращённое к другому человеку слово. Если бы я тогда говорил с моим ассистентом, если бы я не молчал, а рассказывал ему что-то, поддерживал контакт... может быть, он бы вернулся. Но я молчал. Я следил за приборами и молчал. И он ушёл в тишину. В энтропию. В смерть.

Платон вытер слёзы рукавом халата и посмотрел на Лютиция.

— Поэтому я помогу вам, — сказал он. — Не потому что верю в вашу теорему. А потому что вы говорите. Вы единственный человек в этом проклятом месте, который говорит. Все остальные — молчат. Мертвецы молчат, потому что они мёртвые. Сотрудники молчат, потому что так велит регламент. Корнелиус говорит, но его речь — это не живая речь, а имитация, заученные фразы, скрипт. А вы говорите по-настоящему. Вы не можете не говорить. И это — ваш шанс.

Лютиций встал с табурета и протянул Платону руку. Старик пожал её, и рукопожатие было крепким, почти болезненным — так жмут руку люди, которые давно не имели физического контакта с другими людьми и соскучились по нему.

— Тогда договорились, — сказал Лютиций. — Вы становитесь моим слушателем. А я становлюсь вашим... — он запнулся, подбирая слово, — вашим испытателем. Вы построили прибор, который регистрирует интенцию. Я попробую сделать так, чтобы он не просто регистрировал, а воспроизводил. Чтобы записанная интенция оживала. Чтобы мёртвое слово становилось живым.

— Для этого нужно что-то ещё, — сказал Платон, отпуская руку. — Какой-то компонент, которого нет в моём приборе. Какой-то катализатор.

— Какой?

— Я не знаю. Но, кажется, знает Корнелиус.

— Корнелиус?

— Да. Вчера, после нашего разговора, я зашёл в центральный офис, чтобы взять реактивы. И случайно услышал обрывок разговора. Корнелиус говорил с кем-то по телефону. Он сказал: «Объект прибыл. Речевая активность высокая. Возможно, это тот самый». А потом: «Если он разгадает загадку нулевой точки, мы получим ключ к "Говну Мюнхаузена"».

— К чему? — переспросил Лютиций, думая, что ослышался.

— К «Говну Мюнхаузена». Именно так он и сказал. Я не ослышался. Это какой-то объект. Или концепция. Или артефакт. Что-то, что находится здесь, в «Элизиуме», и что каким-то образом связано с протоколом.

Лютиций почувствовал, как внутри у него всё сжалось. Он вспомнил вчерашнюю находку — запись на полях Витгенштейна о том, что сначала слово, потом вера, потом реальность. Вспомнил странную усмешку Корнелиуса, когда тот говорил о пункте четыре. Вспомнил симфонию в соль-диез миноре, настраивающую мертвецов на разложение. Всё это складывалось

в какую-то картину, но в этой картине не хватало главного фрагмента. Того самого, который Корнелиус назвал «Говном Мюнхаузена».

— Нужно узнать, что это такое, — сказал он. — Где оно находится. И как его использовать.

— Это опасно, — предупредил Платон. — Если Корнелиус узнает, что мы копаем под его секреты...

— Он сам хочет, чтобы мы копали, — перебил Лютиций. — Разве вы не поняли? Он сказал: «Если он разгадает загадку нулевой точки, мы получим ключ». Значит, он ждёт, что я её разгадаю. Это часть его плана. Мы — мыши в лабиринте, и он хочет, чтобы мы нашли сыр. Вопрос в том, что будет, когда мы его найдём.

— Сыр окажется отравлен, — мрачно предположил Платон.

— Возможно. Но мы не узнаем, пока не попробуем.

Они договорились встретиться вечером в центральной библиотеке кладбища, которая, по словам Платона, находилась в секторе двенадцать и содержала архивы всех клиентов «Элизиума» за последние сто лет. Если где-то и можно было найти информацию о «Говне Мюнхаузена», то только там. А пока у каждого из них были свои дела: Платону нужно было настроить «Регистратор интенции» на частоту речи Лютиция, а Лютицию — подготовиться к первому ознакомительному осмотру у Корнелиуса, который, согласно регламенту, должен был состояться ровно в полдень.

Лютиций вернулся в свой склеп за десять минут до назначенного времени. Он ещё раз просмотрел договор, пытаясь найти новые ловушки в мелком шрифте, но ничего не нашёл — то ли их там не было, то ли он просто не знал, что искать. Затем он включил диктофон и надиктовал короткую заметку:

«Парадокс второй: живое намерение существует только в момент взаимодействия двух сознаний. Следовательно, протокол „Мюнхаузен“ не может быть пройден в одиночку. Решение: привлечь слушателя. Риск: слушатель становится частью эксперимента и разделяет его последствия. Этическая проблема: имею ли я право подвергать Платона опасности? Ответ: он сам сделал выбор. Он ждал тридцать лет. Я не могу лишить его шанса завершить дело всей его жизни только потому, что это дело опасно. Опасность — это неотъемлемая часть гениальности. Без риска нет открытия. Без ставки нет выигрыша. Без смерти нет бессмертия. Конец заметки».

Он выключил диктофон и вышел в галерею. Там его уже ждал давешний провожатый в чёрном костюме и бабочке.

— Господин Лютиций? Администратор Корнелиус ожидает вас в медицинском крыле. Прошу следовать за мной.

Медицинское крыло находилось в десяти минутах ходьбы от жилого сектора. По дороге Лютиций разглядывал окрестности, пытаясь запомнить маршрут. Аллея Кипарисовая плавно перетекала в Аллею Саркофагов, та — в Площадь Покаяния с огромным фонтаном в виде плачущего ангела. От площади расходились пять лучей-улиц, и провожатый выбрал крайний правый. Они прошли мимо колумбария из чёрного стекла, мимо мавзолея в египетском стиле, мимо участка с вертикальными захоронениями, где надгробия стояли торчком, как книги на полке. Наконец показалось приземистое здание без окон, с единственной дверью из нержавеющей стали и надписью «Медицинский центр. Посторонним вход воспрещён».

Внутри пахло так же, как и везде на кладбище, — стерильностью и дорогим деревом. Только к этому букету добавилась ещё одна нота: едва уловимый запах формальдегида, который не могла замаскировать никакая вентиляция. Лютиций знал этот запах с детства. Когда ему было семь лет, отец взял его в анатомический музей при медицинском институте, и там, среди банок с заспиртованными органами и скелетов на металлических подставках, стоял тот же самый запах — сладковатый, тошнотворный, проникающий в одежду и не выветривающийся неделями. Семь лет — неподходящий возраст для таких экскурсий, но отец у Лютиция

был патологоанатомом и считал, что чем раньше ребёнок познакомится со смертью, тем легче ему будет жить. «Смерть — это не страшно, — говорил он. — Страшно — это когда человек не понимает, что он смертен, и тратит жизнь на ерунду». Лютиций возражал, что понимание смерти не мешает тратить жизнь на ерунду, и в качестве примера приводил самого отца, который тридцать лет проработал в морге и всё это время пил по вечерам, вместо того чтобы написать учебник по патологоанатомии, о котором мечтал в юности. Отец обижался и уходил в гараж, а маленький Лютиций сидел в своей комнате и придумывал логические задачи, в которых смерть была всего лишь переменной, подлежащей сокращению в обеих частях уравнения.

— Сюда, пожалуйста, — провожатый указал на дверь с табличкой «Кабинет предварительной диагностики».

Лютиций вошёл и оказался в просторном помещении, заставленном медицинским оборудованием. Здесь были аппараты для ЭКГ, ЭЭГ, МРТ, какие-то приборы, которых он никогда не видел и о назначении которых мог только догадываться. В центре стояла кушетка, обтянутая белой кожей, а рядом с ней, на высоком стуле, сидел Корнелиус. Сегодня на нём был не деловой костюм, а белый халат поверх рубашки, и это делало его похожим на врача из кошмарного сна — слишком ухоженного, слишком спокойного, слишком уверенного в своём праве решать, кому жить, а кому умирать.

— Рад видеть вас снова, господин Лютиций, — произнёс он, не вставая. — Как вам спалось?

— Спасибо, хорошо. Кровать удобная, кондиционер работает исправно, орган не мешал.

— Орган? — Корнелиус приподнял бровь. — Ах да, вы, наверное, слышали нашу утреннюю симфонию. Это автоматическая настройка акустического поля. Мы используем её для поддержания оптимального микроклимата на территории. Ничего особенного.

— В соль-диез миноре, — уточнил Лютиций.

Глаза Корнелиуса на мгновение сузились, но он тут же вернул лицу прежнее благожелательное выражение.

— Вы разбираетесь в музыке.

— Я разбираюсь в закономерностях. Соль-диез минор — крайне редкая тональность. Она практически не используется в классической музыке, потому что требует двойного диеза на седьмой ступени. Исполнение в этой тональности крайне неудобно для большинства инструментов. И тем не менее ваша «автоматическая настройка» использует именно её. Почему?

— Потому что это тональность перехода, — ответил Корнелиус после короткой паузы. — Вы, я вижу, любите точность. Так вот, соль-диез минор — это тональность, которая находится на границе между минором и мажором. Энгармонически она равна ля-бемоль минору, но ля-бемоль минор — это тональность статики, покоя, завершённости. А соль-диез минор — это тональность движения, перехода, трансформации. Она идеально подходит для кладбища. Мы не хороним здесь мёртвых, господин Лютиций. Мы трансформируем их. Переводим из одного состояния в другое. Как гусеница превращается в бабочку, а бабочка — в пыль.

— Или как живой превращается в мёртвого, — добавил Лютиций.

— И наоборот, — улыбнулся Корнелиус. — Если клиент того пожелает. Прошу вас, ложитесь на кушетку. Сейчас мы проведём предварительную диагностику. Это стандартная процедура. Ничего болезненного.

Лютиций лёг. Кушетка оказалась жёсткой, но не неудобной — такой, чтобы пациент не расслаблялся слишком сильно, но и не напрягался. Корнелиус прикрепил к его вискам, запястьям и груди датчики, подключённые к аппаратам, и включил мониторы. На экранах побежали линии — кардиограмма, энцефалограмма, ещё какие-то графики, смысла которых Лютиций не понимал.

— Расскажите мне о вашей теореме, — попросил Корнелиус, глядя на мониторы. — Мне интересно. И заодно это поможет снять напряжение. Аппаратура лучше работает, когда пациент расслаблен.

— Моя теорема, — начал Лютиций, глядя в потолок, — строится на трёх аксиомах. Первая: смерть — это не биологический процесс, а информационный. Живой человек отличается от мёртвого не наличием сердцебиения или мозговой активности, а наличием смысла. Пока в вашем существовании есть смысл, вы живы. Когда смысл исчезает, вы умираете. Даже если сердце ещё бьётся.

— Интересно, — пробормотал Корнелиус. — Продолжайте.

— Вторая аксиома: смысл порождается речью. Не речь порождается смыслом, а ровно наоборот. Вы не потому говорите, что вам есть что сказать. Вам есть что сказать, потому что вы говорите. Речь — это генератор смысла. Пока вы говорите, вы создаёте смысл, а вместе с ним — жизнь. Поэтому я такой болтливый. Я не могу остановиться, потому что остановка речи для меня равна смерти.

— А третья аксиома?

— Третья аксиома: речь требует слушателя. Смысл не существует в вакууме. Он возникает только в пространстве между говорящим и слушающим. Одинокий человек, разговаривающий сам с собой, постепенно теряет смысл, а вместе с ним — жизнь. Ему нужен другой. Нужен тот, кто будет внимать. Тот, кто скажет: «Я слышу тебя». И тогда смысл замыкается, образуется контур, по которому течёт энергия жизни. Вот почему люди умирают от одиночества. Не от голода, не от холода, не от болезней. От отсутствия слушателя.

Корнелиус перестал смотреть на мониторы и повернулся к Лютицию. Его лицо больше не было благожелательным. Оно стало сосредоточенным, как у шахматиста, который вдруг понял, что противник разыгрывает неожиданный дебют.

— Значит, согласно вашей теореме, бессмертие возможно при наличии двух условий: непрерывной речи и непрерывного слушателя?

— Именно. Бессмертие — это разговор, который никогда не заканчивается. Монолог, у которого всегда есть аудитория. Мюнхаузен, вытаскивающий себя из болота, и барон, который ему аплодирует.

— Но это противоречит вашему вчерашнему плану, — заметил Корнелиус. — Вы собирались записать свою речь на диктофон и использовать запись во время протокола. Где же здесь слушатель?

— Слушателем будет тот, кто включит запись.

— Но это механическое действие. Это не внимание. Это не интенция.

— А вот тут, — сказал Лютиций, приподнимаясь на локте, — мы подходим к самому интересному. Что такое внимание? Что такое интенция? Можно ли их измерить? Можно ли их записать? Можно ли их воспроизвести? Вы говорили, что протокол «Мюнхаузен» работает с живой речью. Но что значит «живая»? Если я запишу свою речь, а потом кто-то прослушает её и воспримет как живую — станет ли она живой? Я думаю, да. Жизнь речи — не в говорящем. Жизнь речи — в слушающем. Труп языка оживает, когда его читают.

Корнелиус молчал. Мониторы пищали, регистрируя какие-то показатели, но он не обращал на них внимания. Он смотрел на Лютиция, и в его взгляде читалось что-то новое. Не просто интерес. Не просто любопытство. Что-то похожее на... узнавание? Словно он встретил человека, которого давно ждал, но уже перестал надеяться встретить.

— Вы очень близко подошли к истине, господин Лютиций, — произнёс он наконец. — Очень близко. Но одного вы пока не понимаете.

— Чего же?

— Вы говорите: «Труп языка оживает, когда его читают». Но кто будет читать ваш язык, когда вы умрёте? Вы. Только вы. Потому что протокол «Мюнхаузен» — это процедура, кото-

рую проходит один человек. Никто не может помочь вам. Никто не может быть вашим слушателем. Это запрещено.

— Запрещено кем?

— Законами физики, господин Лютиций. Законами физики. — Корнелиус встал и начал откреплять датчики. — Диагностика завершена. Ваши показатели в норме. Вы идеальный кандидат для прохождения протокола.

— Когда я смогу начать?

— Когда будете готовы. Но я бы посоветовал вам не торопиться. Погуляйте по кладбищу. Почитайте книги. Пообщайтесь с соседом. У вас есть время. У нас — тем более.

Он вышел из кабинета, оставив Лютиция одного. Тот сел на кушетке и потёр виски, на которых остались следы от датчиков. Разговор с Корнелиусом оставил у него неприятное ощущение. Администратор явно знал больше, чем говорил. И он явно чего-то ждал от Лютиция. Но чего именно?

Лютиций слез с кушетки и подошёл к мониторам, которые всё ещё работали. На одном из них отображалась энцефалограмма — зубчатая линия, бегущая слева направо. Под ней — столбцы цифр, которые ничего ему не говорили. Но одна строчка привлекла его внимание. Она была выделена жёлтым цветом и подписана: «Индекс ИМ».

«ИМ»? Что это такое? Лютиций напряг память, перебирая медицинские аббревиатуры. Инфаркт миокарда? Нет. Искусственная менопауза? Тоже нет. Инициалы? Чьи?

И тут его осенило. «ИМ» — это не медицинский термин. Это инициалы. Иоганн Мюнхаузен. Точнее, Иероним Карл Фридрих фон Мюнхаузен — полное имя барона. Но индекс, названный его именем? Что это могло означать?

Он достал телефон и сфотографировал экран. Вечером он покажет снимок Платону. Может быть, старый физик сумеет расшифровать эти цифры. А пока нужно было возвращаться в склеп и готовиться к ночной вылазке в библиотеку.

Он вышел из медицинского крыла. Провожатый ждал его снаружи, но Лютиций отказался от сопровождения — сказал, что хочет прогуляться в одиночестве. На самом деле ему нужно было подумать. Слова Корнелиуса о том, что слушатель запрещён законами физики, не выходили у него из головы. Что за законы такие? Почему один человек может слушать, а другой — нет? Или Корнелиус имел в виду, что никто не может войти в протокол вместе с клиентом? Но Платон и не собирался входить в протокол. Он собирался слушать снаружи. Быть внешним наблюдателем. Тем, кто коллапсирует волновую функцию. Тем, кто превращает запись в живую речь самим фактом своего внимания.

Если только...

Лютиций остановился. Он стоял на Площади Покаяния, перед фонтаном с плачущим ангелом, и в голове у него складывалась новая логическая конструкция.

Если только внешний наблюдатель невозможен.

Если только акт слушания неизбежно включает слушателя в процесс.

Если только Платон, внимая речи Лютиция во время протокола, сам окажется внутри протокола — и разделит его судьбу.

Вот что имел в виду Корнелиус. Законы физики. Квантовая запутанность. Наблюдатель влияет на наблюдаемое. Нельзя остаться в стороне. Нельзя просто слушать. Ты становишься частью истории, которую слушаешь. Ты втягиваешься в неё, как в водоворот, и уже не можешь выбраться.

И Платон это знал. Знал и всё равно согласился.

Лютиций сел на бортик фонтана и закрыл лицо руками. Вода журчала, ангел плакал каменными слезами, солнце клонилось к закату. Где-то вдалеке снова зазвучал орган — на этот раз что-то из Баха, но транспонированное в другую тональность, и от этого музыка зву-

чала тревожно, неправильно, как будто её исполнял человек, который никогда не слышал Баха в оригинале.

Он думал о Платоне. О том, что старый физик тридцать лет жил с грузом вины за смерть ассистента. О том, что он построил прибор, который мог бы спасти того парня, но не додумался до главного — до речи. О том, что теперь он видит в Лютиции шанс искупить вину. Искупить, даже ценой собственной жизни.

Имел ли Лютиций право принимать эту жертву?

С одной стороны — нет. Потому что никакая теорема не стоит человеческой жизни. Потому что бессмертие, оплаченное смертью другого, — это не бессмертие, а убийство.

С другой стороны — да. Потому что Платон сам сделал выбор. Потому что он взрослый человек, учёный, который понимает риски. Потому что он ждал этого шанса тридцать лет. И лишить его этого шанса — значит проявить не заботу, а неуважение.

С третьей стороны — а есть ли третья сторона? Лютиций усмехнулся про себя. Он всегда мыслил бинарно: да/нет, истина/ложь, жизнь/смерть. Но здесь бинарная логика не работала. Здесь требовалось что-то другое. Какая-то тернарная, тринитарная, чёрт знает какая логика, которая допускает третий вариант.

И он его нашёл.

Он не будет принимать жертву Платона. Он найдёт способ защитить старика. Он построит такую логическую конструкцию, в которой слушатель не разделяет судьбу говорящего. Он решит парадокс наблюдателя. Он докажет, что можно смотреть со стороны и не быть втянутым. Что можно внимать и не участвовать.

Это будет его третьим парадоксом. Парадоксом наблюдателя.

Он встал с бортика и быстрым шагом направился в сторону жилого сектора. Нужно было успеть в библиотеку до закрытия. Нужно было найти информацию о «Говне Мюнхаузена». Нужно было поговорить с Платоном. Нужно было записать ещё несколько заметок на диктофон.

Нужно было говорить. Говорить, говорить, говорить. Потому что пока он говорит — он жив.

Глава 3. Парадокс болтливого мертвеца

Библиотека «Элизиум-парка» располагалась в секторе двенадцать и представляла собой здание, формой напоминавшее открытую книгу, поставленную корешком в землю, а страницами — к небу. Архитектор явно перестарался с метафорой, и теперь две гигантские мраморные плоскости, исчерченные горизонтальными бороздками, нависали над посетителями, создавая ощущение, что ты находишься внутри гигантского фолианта. Лютиций, подходя к входу, подумал, что это, пожалуй, самое претенциозное сооружение на всём кладбище, а это уже о многом говорило.

Внутри пахло старой бумагой и воском — где-то горели свечи, хотя электрическое освещение тоже присутствовало. Библиотечный зал уходил вниз, под землю, этажей на пять, и каждый этаж был виден с галереи, опоясывающей центральный атриум. Стеллажи стояли не рядами, а концентрическими кругами, и если смотреть сверху, это напоминало мишень или лабиринт — кому какая метафора ближе. Лютицию была ближе вторая.

Платон уже ждал его на третьем подземном уровне, в секции «Протоколы и артефакты: теория и практика». Он сидел за длинным дубовым столом, заваленным папками, и что-то сосредоточенно выписывал в блокнот. Рядом с ним стояла тележка с книгами — штук двадцать, не меньше, в кожаных переплётах с золотым тиснением.

— Вы вовремя, — сказал он, не поднимая головы. — Я тут кое-что нашёл. Садитесь.

Лютиций сел напротив и оглядел разложенные бумаги. Это были ксерокопии каких-то рукописных документов, схемы, графики, фотографии. На одной из фотографий он узнал Корнелиуса — тот стоял рядом с каким-то аппаратом, отдалённо напоминавшим барокамеру, и

улыбался своей фирменной улыбкой. Фотография была старая, чёрно-белая, и Корнелиус на ней выглядел точно так же, как сейчас. Ни на день старше.

— Вы заметили? — спросил Платон, перехватив его взгляд.

— Заметил. Сколько лет фотографии?

— Сорок семь. Я проверил по архивам. Сорок семь лет, а Корнелиус не изменился ни на грамм. Ни морщин новых, ни седины. Он либо пользуется очень хорошим пластическим хирургом, либо...

— Либо он тоже мёртв, — закончил Лютиций.

— Либо он тоже прошёл протокол, — поправил Платон. — И прошёл его успешно. Настолько успешно, что теперь работает здесь.

Эта мысль была настолько очевидной, что Лютиций удивился, почему не подумал об этом раньше. В самом деле: если протокол «Мюнхаузен» существует и если кто-то его прошёл, то где этот кто-то? Ответ: он стоит во главе всего предприятия. Он администратор. Он встречает новых клиентов и наблюдает за их попытками повторить его успех. А может быть, он и не проходил протокол вовсе, а...

— А может быть, он и есть барон? — произнёс Лютиций вслух.

Платон оторвался от бумаг и посмотрел на него поверх очков.

— В каком смысле?

— В прямом. Мюнхаузен — литературный персонаж. Но что, если он не просто персонаж? Что, если он существовал на самом деле? Реальный барон, реальный рассказчик, реальный человек, который вытащил себя из болота. А потом он прожил дольше, чем положено обычному человеку. Намного дольше. И теперь он управляет кладбищем, которое названо в честь его самого знаменитого парадокса.

— Это звучит как бред, — сказал Платон, но в его голосе не было уверенности.

— Вся наша жизнь — бред, — парировал Лютиций. — Просто одни виды бреда мы привыкли считать нормой, а другие — патологией. Но это лишь вопрос договорённости. А теперь покажите, что вы нашли.

Платон придвинул к нему одну из папок. На обложке значилось: «Артефакт № 77. Инвентарный номер ЭП-000077. Наименование неофициальное. Доступ ограничен».

— Это оно, — сказал Платон. — «Говно Мюнхаузена». Я нашёл упоминание в каталоге артефактов. Оно действительно существует. Вернее, существовало на момент последней инвентаризации.

— Когда была инвентаризация?

— Двадцать лет назад. С тех пор — тишина. Ни записей, ни перемещений, ни актов о списании. Как будто артефакт исчез.

Лютиций открыл папку и начал читать. Текст был сухим, канцелярским, но содержание от этого не становилось менее поразительным.

«Артефакт № 77 представляет собой фрагмент копролита (окаменелых экскрементов), предположительно принадлежавших исторической личности — Иерониму Карлу Фридриху фон Мюнхаузену (1720–1797). Радиоуглеродный анализ подтверждает датировку второй половиной XVIII века. Анализ ДНК не проводился по причине отсутствия неповреждённого биологического материала. Артефакт был обнаружен в 1887 году на территории родового поместья Мюнхаузенов в Боденвердере (Нижняя Саксония) и приобретён основателем „Элизиум-парка“ на аукционе в Лондоне в 1923 году.

Примечание: артефакт обладает недокументированными свойствами. Согласно свидетельствам очевидцев (см. Приложение 4), физический контакт с объектом вызывает у субъекта непреодолимое желание говорить правду. Данное свойство подтверждено экспериментально (см. Протокол испытаний № 12 от 14 марта 1956 года). Механизм воздействия не выяснен. Рекомендуется соблюдать осторожность при работе с артефактом».

Лютиций поднял глаза от бумаг.

— Говорить правду? — переспросил он. — Прикосновение к окаменелому дерьму вызывает желание говорить правду? Это шутка?

— Я тоже сначала подумал, что шутка, — ответил Платон. — Но я прочитал протокол испытаний. Там всё серьёзно. В 1956 году артефакт испытали на добровольце — одном из сотрудников кладбища. До контакта испытуемый был обычным человеком, склонным к мелкой лжи. После контакта он начал говорить только правду. Абсолютно всё, что приходило ему в голову, — правду. Свои мысли, свои чувства, свои преступления. Он признался в воровстве, в изменах жене, в подделке документов. Через три дня его нашли мёртвым. Он повесился в собственном склепе.

— Потому что не мог больше врать?

— Потому что не мог больше врать, — подтвердил Платон. — А человек, который не может врать, не может жить. Ложь — это не просто искажение фактов. Это смазка для социальных механизмов. Это защитный слой между сознанием и реальностью. Убери ложь — и реальность разъедает сознание, как кислота. Три дня — максимальный срок, который человек выдерживает в абсолютной правде. Потом наступает коллапс.

Лютиций захлопнул папку. История была жуткая, но в ней определённо что-то скрывалось. Что-то, что могло пригодиться.

— Вы сказали, что артефакт исчез, — произнёс он. — Но он не мог исчезнуть бесследно. Должны быть записи о его перемещении, даже если они скрыты.

— Есть одна запись, — сказал Платон, понижая голос. — Неофициальная. Я нашёл её не в каталоге, а в личном дневнике одного из бывших хранителей. Он пишет, что в 1998 году Корнелиус лично изъял артефакт из хранилища и перенёс его в сектор ноль.

— Сектор ноль? Это что такое?

— Никто не знает. На картах кладбища такого сектора нет. Он не обозначен ни в одном официальном документе. Но хранитель упоминает его как «уровень, где хранится то, что не должно существовать». И добавляет: «Корнелиус называет это место сердцем Элизиума».

— Сердце Элизиума, — повторил Лютиций. — Звучит как название плохого фэнтези.

— Или хорошего кошмара, — возразил Платон. — Я пытался найти этот сектор много лет. Расспрашивал сотрудников, рылся в архивах, даже пытался проследить за Корнелиусом. Бесполезно. Он исчезает в одном месте и появляется в другом, минуя все известные коридоры. Как будто у него есть личный телепорт.

— Не телепорт, — сказал Лютиций, задумчиво глядя на круги стеллажей, уходящие вниз. — Потайной ход. Это здание — оно ведь не просто метафора раскрытой книги. Это головоломка. Архитектор заложил в планировку скрытые уровни, которые не видны при обычном осмотре. Вспомните: концентрические круги, галереи, атриум. Круги — это не круги. Это спираль. И где-то в центре спирали находится вход на нулевой уровень.

Платон снял очки и потёр переносицу. Он выглядел уставшим, но в глазах у него горел тот самый огонёк, который Лютиций заметил при первой встрече, — огонёк охотничьего азарта, свойственного людям, которые не могут остановиться, пока не разгадают загадку.

— Если вы правы, — сказал он, — то вход в сектор ноль находится где-то в этой библиотеке. Возможно, прямо под нами.

— Не «возможно», — поправил Лютиций. — Определённо. И я знаю, как его найти.

Он встал из-за стола и подошёл к перилам галереи. Внизу, на дне атриума, в свете тусклых ламп, виднелся пол, выложенный мраморной мозаикой. Мозаика изображала всё ту же книгу — раскрытую, с текстом на незнакомом языке, но Лютиций не смотрел на текст. Он смотрел на тени.

Стеллажи были расставлены концентрическими кругами. Свет падал сверху, из купола, и отбрасывал тени на пол атриума. Тени пересекались, образуя сложный узор. И в центре этого

узора находилось тёмное пятно — не тень, а именно пятно, словно пол в этом месте был чуть темнее, чем везде. Или чуть глубже.

— Смотрите, — сказал он, указывая вниз. — Видите центр? Там нет мозаики. Там люк.

Платон подошёл к перилам и прищурился.

— У вас отличное зрение. Я бы не заметил.

— Дело не в зрении, а в логике. Если архитектор спроектировал здание как головоломку, он должен был оставить подсказку. Подсказка — это тени. В полдень, когда солнце стоит точно над куполом, тени от стеллажей должны указывать на вход. Но сейчас вечер, и тени смещены. Однако есть ещё один источник света — вон те лампы на стенах. Они расположены не симметрично, а под определённым углом. Если мысленно продолжить их лучи, они сойдутся в одной точке. Вон там.

Платон перевёл взгляд с пятна на полу на лампы, потом снова на пятно. На его лице медленно проступало понимание.

— Вы правы, — прошептал он. — Вы правы. Тридцать лет. Тридцать лет я хожу в эту библиотеку — и ни разу не заметил.

— Потому что вы не искали, — сказал Лютиций. — Вы искали информацию о протоколе, о своих приборах, о физике смерти. Но вы не искали саму библиотеку. А я ищу всегда. Это мой метод: когда не можешь найти ответ — ищи вопрос, который к нему приведёт.

Они спустились по винтовой лестнице на нижний уровень и подошли к центру атриума. Здесь было тихо, только где-то наверху шуршали страницы — может быть, сквозняк, а может быть, библиотека жила своей жизнью. Пятно на полу действительно оказалось люком — круглой металлической плитой, вписанной в мозаику так искусно, что стыки были почти незаметны. На плите не было ни ручки, ни замка, ни кнопки. Только гравировка — всё та же латинская фраза, которую Лютиций уже видел на воротах «Элизиума», но теперь мог прочитать.

«Mors certa, hora incerta» — «Смерть неизбежна, час неизвестен».

— Банальность, — прокомментировал он. — Но, как всякая банальность, содержит в себе зерно истины. Или ключ.

Он опустился на колени и провёл ладонью по гравировке. Буквы были холодными, чуть шероховатыми. «Mors certa, hora incerta». Смерть неизбежна, час неизвестен. Но неизвестен — для кого? Для того, кто умирает? Или для того, кто наблюдает? И вообще — что значит «неизвестен»? Неизвестен — значит, его можно выбрать. Если час неизвестен, его можно назначить. Самому. Сейчас.

— Нужно что-то сказать, — произнёс он. — Это замок, который открывается словом. Как в сказке про Али-Бабу. Сим-сим, откройся. Только здесь другой пароль.

— Откуда вы знаете? — спросил Платон.

— Потому что всё в этом месте завязано на речь. На слова. На интенцию. Протокол «Мюнхаузен» — речевая процедура. Артефакт — прикосновение к правде через слово. Вход в сердце Элизиума тоже должен быть речевым. Это логично.

— Логично, но какое слово?

Лютиций задумался. Слово-ключ. Пароль. Фраза, которая откроет люк. Она должна быть связана с Мюнхаузеном, с Элизиумом, со смертью и воскрешением. Может быть, это имя барона? Или название артефакта? Или...

— Говно Мюнхаузена, — сказал он вслух.

Ничего не произошло. Плита осталась неподвижной. Платон смотрел на него с сомнением.

— Может быть, на латыни? — предположил он.

— Может быть. Но я не знаю, как будет «говно» на латыни. Stercus? Fimus? Merda? Это всё не то. Пароль должен быть точным. Таким, каким он был задуман архитектором. Или Корнелиусом. Или самим бароном, если он действительно существует.

— Попробуйте по-немецки, — предложил Платон. — Мюнхаузен был немцем.

— Scheiße des Münchhausen, — произнёс Лютиций.

Плита дрогнула. По мраморной мозаике побежала трещина — не настоящая, а световая, как будто кто-то включил подсветку контура. Гравировка вспыхнула золотом, и буквы начали перестраиваться, складываясь в новую фразу:

«Wer die Wahrheit spricht, wird sterben. Wer lügt, wird leben. Wer beides tut, wird ewig sein».

— «Кто говорит правду — умрёт. Кто лжёт — будет жить. Кто делает и то и другое — будет вечным», — перевёл Платон. — Это что-то вроде загадки.

— Нет, — сказал Лютиций, поднимаясь с колен. — Это не загадка. Это парадокс. Очередной парадокс.

Он смотрел на светящуюся надпись и чувствовал, как в голове закипает мысль. Парадокс был сформулирован изящно, но в нём чувствовался подвох. «Кто говорит правду — умрёт». Это согласовывалось с историей об артефакте: человек, который не может врать, умирает через три дня. «Кто лжёт — будет жить». Это тоже логично: ложь — это защитный механизм, способ выживания. Но «кто делает и то и другое — будет вечным»? Что это значит? Как можно одновременно говорить правду и лгать? Это же логическое противоречие.

Если только...

— Если только правда и ложь не являются взаимоисключающими категориями, — произнёс он вслух. — Если существует третий вариант. Не правда и не ложь. А что-то среднее. Что-то, что содержит в себе и то и другое одновременно.

— Такого не бывает, — возразил Платон. — Закон исключённого третьего: любое утверждение либо истинно, либо ложно. Третьего не дано.

— В классической логике — да. Но мы имеем дело не с классической логикой. Мы имеем дело с логикой Мюнхаузена. А Мюнхаузен, как известно, врал так убедительно, что его ложь становилась правдой. И говорил правду так невероятно, что она казалась ложью. Он был мастером третьего варианта. Он не разделял правду и ложь. Он существовал в промежутке между ними. В зазоре. В том самом месте, где рождается бессмертие.

Он шагнул на плиту, и она начала медленно опускаться. Это был не люк в прямом смысле слова, а платформа — небольшой круглый лифт, который уходил вниз, в неизвестность. Платон хотел было последовать за ним, но Лютиций остановил его жестом.

— Нет. Вы остаётесь здесь.

— Почему?

— Потому что дальше я пойду один. Это моя битва. Вы — мой слушатель, а не мой соратник в бою. Если я не вернусь через час, возвращайтесь в свой склеп и продолжайте исследования. Найдите способ пройти протокол без меня. Или уничтожьте его. Решайте сами.

— Но...

— Платон Сергеевич, — Лютиций посмотрел на старика так, как смотрят на человека, которому доверяют самое важное. — Если со мной что-то случится, вы останетесь единственным, кто знает правду об этом месте. И кто может рассказать её другим. Вы нужны здесь больше, чем там, внизу. Понимаете?

Платон хотел возразить, но что-то в лице Лютиция заставило его промолчать. Он просто кивнул и отступил от края платформы.

— Удачи, — сказал он. — И помните: говорите. Что бы ни случилось — говорите. Не останавливайтесь ни на секунду. Речь — ваш единственный шанс.

Платформа ушла вниз. Лютиций стоял в темноте, чувствуя, как пол уходит из-под ног, и считал секунды. Одна, две, три... На десятой секунде платформа остановилась. Он сделал шаг вперёд и оказался в коридоре, освещённом тусклыми красными лампами.

Это был сектор ноль.

Коридор был узким и низким, явно не рассчитанным на людей с клаустрофобией. Стены были обшиты металлическими листами, на которых виднелись какие-то надписи — формулы, чертежи, фрагменты текстов на разных языках. Лютиций узнал некоторые: это были цитаты из работ по квантовой механике, философии сознания, теологии. Кто-то методично исписал стены коридора идеями о смерти и бессмертии, и почерк показался ему знакомым.

Он присмотрелся. Да, это был тот же почерк, что и на полях Витгенштейна. Женский, с завитками на «д» и «у». Бывшая жиличка его склепа. Та, которая молчала, а потом исчезла.

Значит, она нашла сектор ноль. И оставила здесь свои мысли.

Он пошёл по коридору, читая надписи. Они становились всё более хаотичными, всё более отчаянными. «Смерть — это не событие, а состояние. Но состояние — это процесс. Значит, смерть — это процесс. Процесс можно обратить». «Я молчала и умерла. Теперь я говорю и живу? Нет. Я говорю и умираю по-другому. Красивее. Медленнее. Но всё равно умираю». «Он сказал, что артефакт даст мне вечность. Он солгал. Артефакт дал мне только правду. А правда убивает». «Если вы читаете это — уходите. Пока можете. Потом будет поздно».

Лютиций не уходил. Он шёл вперёд, и надписи на стенах становились всё более безумными. В какой-то момент они сменились рисунками — анатомическими схемами мозга, на которых кто-то обводил красным определённые участки и подписывал их: «Здесь живёт ложь», «Здесь живёт правда», «А здесь — то, что между ними. То, что делает нас людьми».

Коридор закончился дверью. Тяжёлой, стальной, с электронным замком. Но замок был открыт — видимо, предыдущая посетительница позаботилась об этом. Лютиций толкнул дверь и вошёл в комнату.

Это было круглое помещение, напоминавшее операционную. В центре стоял постамент, на котором покоился стеклянный куб. Внутри куба на бархатной подушке лежал он — артефакт № 77. Окаменелый экскремент барона Мюнхаузена.

Он выглядел именно так, как и должен выглядеть окаменелый экскремент: небольшой, тёмно-коричневый, с неровной поверхностью, на которой виднелись какие-то вкрапления. Ничего величественного. Ничего пугающего. Просто кусок дерьма, пролежавший в земле двести лет и превратившийся в камень.

Но от него исходило тепло. Лютиций чувствовал его даже на расстоянии — слабое, но отчётливое тепло, как от нагретого солнцем камня. Или как от живого существа.

— Вы всё-таки нашли его, — раздался голос за спиной.

Лютиций обернулся. В дверях стоял Корнелиус. Он не выглядел удивлённым или рассерженным. Скорее — удовлетворённым. Как человек, который ждал этого момента и наконец дождался.

— Я знал, что вы найдёте сектор ноль, — сказал он, входя в комнату. — Знал с того момента, как увидел вас. У вас особый склад ума, Лютиций. Вы не просто гений. Вы — парадоксальный гений. Вы мыслите не по правилам. Вы мыслите между правилами. Именно такой человек нужен, чтобы решить загадку артефакта.

— Загадку? — переспросил Лютиций. — Мне казалось, загадка уже решена. Артефакт заставляет говорить правду. Правда убивает. Конец.

— Это лишь верхний слой, — Корнелиус подошёл ближе. — То, что написано в протоколах испытаний. Но есть и нижний слой. То, что не написано нигде. То, что знаю только я.

— И что же это?

— Артефакт не заставляет говорить правду. Артефакт заставляет говорить то, во что вы верите. Это разные вещи, согласитесь. Можно верить в ложь — и тогда артефакт заставит вас

говорить эту ложь, но вы будете думать, что говорите правду. Можно верить в правду — и тогда артефакт заставит вас говорить правду, но вы будете думать, что лжёте. Артефакт не различает правду и ложь. Он различает только веру. Убеждённость. Интенцию. Он — усилитель интенции. Поэтому он так важен для протокола «Мюнхаузен».

— Для протокола? — Лютиций насторожился.

— Да. Потому что протокол «Мюнхаузен» — это не просто речевая процедура. Это процедура, в которой клиент должен поверить в своё воскрешение настолько сильно, чтобы оно стало реальностью. Но поверить по-настоящему трудно. Почти невозможно. Потому что вы знаете: вы умерли. Вы знаете: воскрешения не бывает. Это знание сидит глубоко в подсознании и блокирует веру. Артефакт снимает этот блок. Прикоснувшись к нему, вы перестаёте различать знание и веру. Вы начинаете верить во всё, что говорите. И говорить всё, во что верите. Это страшно. Это опасно. Большинство людей сходят с ума. Но если вы сумеете сохранить контроль... вы станете бессмертным.

— Как вы?

Корнелиус улыбнулся. Его зубы блеснули в красном свете ламп.

— Как я. Я прикоснулся к артефакту сорок семь лет назад. И с тех пор я не могу умереть. Потому что я верю, что я жив. А артефакт делает мою веру реальностью. Это и есть секрет протокола. Не запись речи. Не внешний слушатель. Не логические парадоксы. Только вера. Абсолютная, безусловная, безумная вера в то, что ты — жив.

Лютиций смотрел на стеклянный куб. Маленький коричневый камень на бархатной подушке. Кусок дерьма, который может подарить вечность. Или смерть. Или безумие. В зависимости от того, во что вы поверите.

— Зачем вы мне это рассказываете? — спросил он.

— Потому что мне скучно, — просто ответил Корнелиус. — Я жив сорок семь лет сверх положенного. Я видел всё, что можно увидеть. Я прочитал все книги. Я выслушал всех клиентов. Мне скучно. Мне нужен кто-то, кто составит мне компанию. Кто-то, кто тоже сможет пройти протокол и остаться в живых — по-настоящему живым, а не как эти несчастные, которые либо умирают, либо превращаются в бледные копии самих себя. Вы — первый, у кого есть шанс. Я хочу, чтобы вы его использовали.

— А если я откажусь?

— Тогда вы умрёте. Как все. Может быть, не сегодня. Может быть, не завтра. Но в конце концов — умрёте. Потому что вы смертны. А смертные умирают. Это единственная правда, которую не может изменить даже артефакт.

Лютиций стоял перед кубом и думал. Он думал о Платоне, который ждал его наверху. О бывшей жиличке склепа, которая сошла с ума в этом коридоре. О Корнелиусе, который был живым доказательством того, что бессмертие возможно. О своей теореме, которая привела его сюда.

— Хорошо, — сказал он. — Я прикоснусь к артефакту. Но при одном условии.

— Каком?

— Вы станете моим слушателем. Вы будете слушать мою речь — всю, до последнего слова. И если я начну сходить с ума, вы остановите меня. Не знаю как — найдёте способ. Но вы остановите меня.

Корнелиус посмотрел на него долгим взглядом. Улыбка исчезла с его лица, сменившись чем-то похожим на уважение.

— Согласен, — сказал он. — Я буду вашим слушателем. Честное слово барона.

Он подошёл к кубу и нажал какую-то кнопку на постаменте. Стеклянные стенки куба медленно поднялись, открывая доступ к артефакту. Камень лежал на подушке, излучая своё странное тепло. Лютиций протянул руку и взял его.

В первый момент ничего не произошло. Просто тёплый камень в ладони. Шершавый. Лёгкий. Никакого сияния, никаких голосов в голове, никаких видений.

А потом он открыл рот и заговорил.

Это была не та речь, которую он планировал. Не подготовленный монолог. Не логические построения. Это был поток слов, который лился из него, как вода из прорванной плотины. Он говорил о своём детстве. О родителях. О первой любви. О диссертации. О страхе смерти. О том, как боялся темноты в пять лет. О том, как украл деньги у одноклассника в третьем классе. О том, как ненавидел своего научного руководителя и желал ему смерти. О том, как плакал, когда умерла бабушка. О том, как радовался, когда его выгнали из Тринити-колледжа, потому что это означало, что он был прав, а они — нет.

Он говорил правду. Только правду. Всю правду, которую копил тридцать с лишним лет и никогда никому не рассказывал. Это было больно. Это было стыдно. Это было невыносимо. Но он не мог остановиться.

И он понимал, почему тот человек в 1956 году повесился через три дня.

Потому что правда — это яд. Концентрированный. Смертельный.

Но вместе с правдой из него лилась и ложь. Он говорил о том, чего не было. О подвигах, которых не совершал. О странах, в которых не бывал. О женщинах, которых не любил. О победах, которых не одерживал. И он верил в каждое слово. Верил так, как верят дети в сказки. Верил так, как верят святые в чудеса. Верил так, как барон Мюнхаузен верил в свои небылицы.

И в этой смеси правды и лжи рождалось что-то третье. Что-то, чего он никогда раньше не испытывал. Какая-то новая форма существования. Не жизнь. Не смерть. А что-то между ними. Что-то, у чего не было названия.

Он говорил, и слова сплетались в кокон, который окутывал его, защищал от реальности. Он говорил, и комната вокруг начала расплываться, терять очертания. Он говорил, и где-то на периферии сознания слышал голос Корнелиуса:

— Продолжайте. Не останавливайтесь. Это работает. Вы проходите протокол.

Протокол. Тот самый протокол «Мюнхаузен». Но он думал, что протокол начнётся позже, с нулевой мозговой активностью, с гипотермией, с датчиками и приборами. А оказалось, что протокол уже начался. Начался в тот момент, когда он взял в руку кусок окаменелого дерьма. Начался с первой фразы, сорвавшейся с его губ.

И он продолжал говорить. О том, как вытащил себя из болота за волосы. О том, как летел на пушечном ядре. О том, как охотился на уток с куском сала на верёвке. Он рассказывал истории барона Мюнхаузена как свои собственные, и на каком-то этапе они действительно стали его собственными. Он больше не различал, где его воспоминания, а где — барона. Где правда, а где — ложь. Где жизнь, а где — смерть.

Он был Мюнхаузеном. И Мюнхаузен был им. И в этом слиянии, в этом парадоксальном единстве рассказчика и персонажа, правды и вымысла, жизни и смерти — что-то происходило. Что-то менялось. Что-то рождалось заново.

Сколько времени прошло? Час? Два? Сутки? Он не знал. Он потерял счёт времени, потерял ощущение пространства, потерял самого себя. Осталась только речь. Бесконечная, непрекращающаяся, текучая, как река. Речь, которая была им и которой был он.

А потом он замолчал.

Просто иссяк. Как источник, который вдруг пересох. Он стоял посреди комнаты с камнем в руке и не мог выдавить из себя ни слова. В горле пересохло. Язык онемел. Мысли остановились.

— Достаточно, — сказал Корнелиус.

Он взял артефакт из рук Лютиция и положил его обратно на подушку. Стеклянные стенки опустились, запирая камень в кубе. Лютиций стоял, покачиваясь, и пытался понять, что с ним произошло.

— Что... что это было? — спросил он хриплым, чужим голосом.

— Это была первая стадия протокола, — ответил Корнелиус. — Вы прошли её. Поздравляю.

— Первая стадия? А сколько их всего?

— Три. Первая — контакт с артефактом. Вторая — нулевая точка. Третья — возвращение. Вы прошли первую. Вторую будете проходить завтра. В медицинском крыле. С датчиками, гипотермией и всем остальным. А третью... третью вы пройдёте сами. Если сможете.

— Почему «если»?

— Потому что третья стадия — самая сложная. Артефакт даёт вам веру. Но веру нужно удержать. Нужно продолжать говорить. Нужно оставаться в потоке речи, даже когда тело умрёт. Даже когда мозг отключится. Даже когда всё, что вы считали собой, перестанет существовать. Нужно говорить из ничего. В никуда. Ни для кого. Это и есть возвращение. Это и есть бессмертие.

Корнелиус повернулся и пошёл к выходу. У двери он остановился и, не оборачиваясь, бросил через плечо:

— Ваш друг ждёт вас наверху. Не заставляйте его волноваться. И не рассказывайте ему того, что узнали здесь. Некоторые истины не предназначены для посторонних. Даже для тех, кто ждал их тридцать лет.

Он ушёл. Лютиций остался один в красном полумраке комнаты. Он посмотрел на стеклянный куб, в котором покоился артефакт, и впервые за долгое время не нашёл слов. Абсолютная, звенящая тишина стояла в секторе ноль. Тишина, которая была хуже любой музыки.

Он повернулся и пошёл к выходу. Платформа подняла его наверх, в библиотеку, где на полу, прислонившись спиной к стеллажу, спал Платон. Старик просидел здесь всю ночь, ожидая возвращения своего гениального соседа.

Лютиций тронул его за плечо.

— Просыпайтесь, Платон Сергеевич. Нам многое нужно обсудить.

Платон открыл глаза и несколько секунд смотрел на Лютиция, не узнавая. А потом лицо его прояснилось.

— Вы вернулись, — прошептал он. — Вы живы.

— Я не знаю, кто я, — ответил Лютиций. — Но я определённо говорю. А пока я говорю — я существую. Это всё, что имеет значение.

Глава 4. Бабочка Брэдбери в стакане с формальдегидом

Платон протёр глаза, снял очки и снова их надел, словно надеялся, что это поможет ему лучше разглядеть стоящего перед ним человека. Лютиций выглядел иначе, чем накануне. Дело было не в одежде — та же рубашка, тот же пиджак, разве что чуть более мятые, — а в чём-то неуловимом, что изменилось в лице, в осанке, в самом воздухе вокруг него. Так выглядит человек, который провёл ночь на грани между явью и бредом, между собой и не-собой, и теперь не может с уверенностью сказать, на какую сторону он в итоге выпал.

— Что там было? — спросил Платон, поднимаясь с пола и разминая затёкшую спину. — Вы спускались в сектор ноль? Вы нашли артефакт?

— Нашёл, — ответил Лютиций. — И прикоснулся к нему. И говорил. Говорил так, как никогда в жизни. Всю ночь напролёт, без остановки, без передышки. Я вывернул себя наизнанку, Платон Сергеевич. Я рассказал всё, что знал, и всё, чего не знал. Всё, во что верил, и всё, в чём сомневался. Я был собой и не-собой одновременно. Я был Лютицием и Мюнхаузеном. Понимаете?

Платон слушал, и его лицо становилось всё более озабоченным.

— Это была первая стадия протокола, да? — тихо произнёс он. — Корнелиус был там?

— Был. Он рассказал мне, как работает артефакт. Это не просто окаменелость, не просто курьёз из прошлого. Это усилитель интенции. Он стирает границу между знанием и верой,

между правдой и ложью. И именно это нужно для протокола «Мюнхаузен». Чтобы воскреснуть, нужно поверить в своё воскрешение так сильно, чтобы реальность подчинилась вере. Но поверить по-настоящему невозможно, потому что вы знаете: вы умерли. Артефакт убирает это знание. И остаётся только вера. Чистая, безусловная, безумная вера.

— И Корнелиус...

— Корнелиус прошёл через это сорок семь лет назад. Он прикоснулся к артефакту, прошёл протокол и стал бессмертным. Теперь он предлагает мне сделать то же самое.

Они замолчали. В библиотеке было тихо, только где-то на верхних этажах шуршали страницы — то ли сквозняк, то ли автоматическая система вентиляции перебирала книги, как картотеку. Свечи на столах давно догорели, и теперь зал освещался только тусклыми лампами дневного света, которые гудели на одной ноте, резонируя с чем-то в груди у Лютиция.

— Вы согласились? — спросил наконец Платон.

— Согласился. Сегодня я прохожу вторую стадию. Нулевую точку. Моё тело погрузят в гипотермию, мозговая активность упадёт до нуля, и тогда начнётся главное. Мне нужно будет говорить. Даже когда мозг перестанет работать. Даже когда я перестану существовать. Говорить из ничего. В никуда. Ни для кого. И если я смогу — я вернусь.

— А если не сможете?

Лютиций посмотрел на старика долгим взглядом. В его глазах было что-то новое — не страх, не решимость, а скорее спокойное приятие любой возможности.

— Тогда я умру. Или превращусь в бледную копию самого себя. В любом случае, это будет уже не я.

Платон тяжело опустился на стул. Он выглядел так, словно постарел ещё на десять лет за одну ночь. Его пальцы машинально теребили край блокнота, в котором он делал записи.

— Это неправильно, — сказал он. — Это ловушка. Корнелиус использует вас. Ему нужен не компаньон для вечности, ему нужен... я не знаю... подопытный кролик? Или преемник? Или жертва? Что-то здесь не так. Я чувствую.

— Я тоже чувствую, — ответил Лютиций. — Но выбор сделан. Я пришёл сюда, чтобы доказать теорему бессмертия. И я докажу её. Чего бы это ни стоило.

Он положил руку на плечо Платону.

— Вы обещали быть моим слушателем. Я помню. Но теперь я прошу вас о другом. Будьте моим свидетелем. Запишите всё, что увидите и услышите. Всё, что произойдёт со мной во время протокола. Если я не вернусь — пусть останется запись. Пусть кто-нибудь узнает, что здесь происходило на самом деле.

— Кто узнает? — горько усмехнулся Платон. — Кому это будет интересно? Мы на кладбище, Лютиций. На огромном транснациональном кладбище, где хоронят миллионы людей, и никто из них не воскресает. Кому какое дело до ещё одного безумца, который решил, что он умнее смерти?

— Вам, — просто ответил Лютиций. — Вам есть дело. И этого достаточно.

Они вышли из библиотеки в серое утро. Солнце ещё не взошло, но небо на востоке уже начинало светлеть, окрашивая облака в болезненно-розовый цвет. Аллеи «Элизиум-парка» были пустынны. Фонтаны журчали, электрокары стояли на зарядных станциях, мраморные ангелы смотрели в небо своими слепыми глазами. Красота и покой. Идеальный порядок. Санаторий для мёртвых.

До медицинского крыла они дошли молча. У входа их уже ждал Корнелиус — свежий, выбритый, в безупречном белом халате. Он приветствовал Лютиция лёгким кивком, а Платона окинул взглядом, в котором читалось лёгкое неодобрение.

— Господин Гумилёв, — произнёс он. — Я понимаю ваше желание поддержать друга, но процедура сугубо индивидуальна. Присутствие посторонних исключено.

— Я не посторонний, — возразил Платон. — Я консультант по физическим вопросам. И я имею право наблюдать за экспериментом.

— Это не эксперимент. Это процедура. И она не входит в вашу компетенцию.

— Корнелиус, — вмешался Лютиций. — Пусть он останется. Хотя бы в смотровой. За стеклом. Ему не обязательно входить в операционную.

Корнелиус на мгновение задумался. Потом его губы растянулись в знакомой полуулыбке.

— Хорошо. Смотровая — это можно. Но без записывающей аппаратуры. Без телефонов. Без диктофонов. Только глаза и уши. Вы согласны, господин Гумилёв?

Платон кивнул, хотя его пальцы невольно сжались в кармане на маленьком диктофоне, который он всегда носил с собой. Он мысленно попрощался с идеей сделать аудиозапись. Что ж, придётся полагаться только на память.

Они вошли в здание. На этот раз Лютиция повели не в кабинет предварительной диагностики, а дальше, в глубь медицинского крыла. Коридоры становились всё более стерильными, всё более похожими на больничные. Стены из белого пластика, полы из линолеума, лампы дневного света без абажуров. Никаких украшений. Никаких символов. Только функциональность и холод.

Операционная оказалась просторным залом, в центре которого возвышалась барокамера — та самая, которую Лютиций видел на старой фотографии. Она была похожа на гигантский стеклянный гроб, подключённый к десяткам приборов. Вокруг неё суетились люди в белых халатах — молчаливые, сосредоточенные, с лицами, лишёнными всякого выражения. Они напоминали не столько врачей, сколько техников, обслуживающих сложный механизм.

Платона проводили в смотровую — небольшую комнату за толстым стеклом, откуда открывался вид на операционную. Ему предложили кресло, и он сел, чувствуя, как сердце колотится где-то в горле. Тридцать лет он ждал этого момента. Тридцать лет он пытался понять, в чём была его ошибка, почему его прибор не сработал, почему его ассистент не вернулся. И вот теперь, перед его глазами, другой человек — живой, гениальный, болтливый — готовился пройти через то, что когда-то не смог пройти его ассистент.

Лютиций тем временем разделся до белья и лёг в барокамеру. Техники прикрепили к его телу датчики — ещё больше, чем в прошлый раз. К вискам, к груди, к запястьям, к щиколоткам. Тонкие провода тянулись от датчиков к приборам, и на мониторах заплясали линии — кардиограмма, энцефалограмма, реограмма, ещё какие-то показатели, значения которых Платон не знал. Корнелиус стоял у изголовья и что-то тихо говорил Лютицию — слов было не разобрать, но по движению губ Платон понял: «Не останавливайтесь. Говорите».

Стеклянная крышка барокамеры закрылась. Внутри зашумел воздух, нагнетаемый системой климат-контроля. Лютиций закрыл глаза. Его губы зашевелились — он начал говорить, но снаружи не было слышно ни звука. Динамики в смотровой молчали, и Платон мог только догадываться, какие слова сейчас слетают с губ его друга.

А потом началась гипотермия.

Температура внутри барокамеры начала падать. На мониторах было видно, как замедляется сердцебиение, как растягиваются промежутки между пиками энцефалограммы. Тело Лютиция покрылось инеем. Ресницы побелели. Губы продолжали двигаться, но всё медленнее, всё менее различимо.

Платон сидел, вцепившись в подлокотники кресла, и не мог оторвать взгляда от стекла. В голове крутилась одна и та же мысль: «Только бы получилось. Только бы он вернулся. Только бы не повторилась та история».

На одном из мониторов высветилась надпись: «Нулевая активность достигнута». Линия энцефалограммы стала прямой. Сердце остановилось. Лютиций был мёртв.

Клинически. Биологически. Абсолютно.

И в этот момент динамики в смотровой ожили.

Сначала из них донёсся только шум — белый шум, похожий на помехи в старом радиоприёмнике. Потом сквозь шум начали проступать слова. Тихие, едва различимые, но несомненно принадлежавшие Лютицию. Его голос. Его интонации. Его манера растягивать гласные и проглатывать окончания.

— Я умер, — говорил голос. — Я знаю, что я умер. Моё сердце не бьётся, мой мозг не работает, моё тело — кусок замороженного мяса. Но я говорю. И пока я говорю, я существую. Это парадокс, господа. Парадокс болтливого мертвеца. Я мёртв — но я говорю. Я говорю — значит, я жив. Как такое возможно? А вот так. Потому что речь не зависит от тела. Речь — это не функция мозга. Речь — это функция бытия. Бытие говорит через нас. И когда мы замолкаем, бытие уходит. А когда мы говорим — бытие остаётся. Поэтому я не замолчу. Я буду говорить вечно. И значит, я буду жить вечно. Quod erat demonstrandum. Что и требовалось доказать.

Платон слушал, и по его щекам текли слёзы. Он не знал, плачет он от радости или от ужаса. Голос, звучавший из динамиков, был голосом Лютиция — но в нём было что-то потустороннее, что-то нечеловеческое. Так мог бы говорить ангел, если бы ангелы существовали и если бы они умели говорить по-русски.

— Платон Сергеевич, — продолжал голос. — Если вы меня слышите, не плачьте. Это неприлично. Физик такого уровня, как вы, должен сохранять хладнокровие перед лицом паранормального явления. Воспринимайте происходящее как эксперимент. Гипотеза: сознание продолжает существовать после смерти. Метод: протокол «Мюнхаузен». Результат: я говорю с вами из нулевой точки. Из того самого ничто, которого вы так боялись. Знаете, какое оно? Никакое. Буквально. Здесь нет ничего. Нет света, нет тьмы, нет тепла, нет холода. Нет пространства, нет времени. Есть только я. Вернее, то, что от меня осталось. Моя речь. Моё слово. Моя интенция. И знаете что? Этого достаточно. Потому что слово — это и есть реальность. В начале было Слово — помните? И слово было Бог. И слово было у Бога. А теперь слово — это я. Лютиций. Гений. Болтун. Мертвец. Бессмертный.

Голос рассмеялся. Это был смех Лютиция — его неподражаемый смех, который всегда звучал немного громче, чем следовало, и немного дольше, чем того требовали приличия. Но теперь, проходя через динамики смотровой, он казался жутким, леденящим кровь.

Корнелиус стоял у пульта управления и смотрел на мониторы. Его лицо было непроницаемым. Техники прекратили работу и застыли, как статуи. В операционной повисла тишина — если не считать голоса, льющегося из динамиков.

— А теперь, — произнёс голос, — позвольте рассказать вам одну историю. Это будет история о бабочке. Нет, не о бабочке Брэдбери, которая меняет прошлое, наступив на неё в мезозое. О другой бабочке. О бабочке, которая попала в стакан с формальдегидом. Это случилось со мной в детстве. Мне было шесть лет. Я поймал бабочку — красивую, с жёлтыми крыльями и чёрными прожилками. Я хотел сохранить её навсегда. Чтобы она никогда не умерла. Чтобы она всегда была со мной. Я взял у отца из лаборатории формальдегид, налил в стакан и опустил туда бабочку. Она дёрнулась раз, другой — и замерла. Я был счастлив: теперь она вечная. Но отец, когда узнал, рассердился. Он сказал: «Ты не сохранил бабочку, ты убил её. Она не вечная, она мёртвая. Вечной можно сделать только идею бабочки, но не саму бабочку». Я тогда не понял. Я плакал и кричал, что папа неправ, что бабочка просто спит. А теперь понимаю. Отец был прав. Нельзя сохранить тело. Можно сохранить только слово. Бабочка в формальдегиде — это труп. Бабочка в стихах — это вечность. Я сейчас — как та бабочка. Моё тело лежит в барокамере, напичканное химией и льдом. Но моя речь — она здесь. Она не в формальдегиде. Она в эфире. В вакууме. В нигде. И пока я говорю, я вечен.

Платон закрыл лицо руками. Он не мог больше слушать этот голос — одновременно родной и чужой, живой и мёртвый, утешающий и пугающий. Но он и не мог не слушать. Потому

что это был его долг — быть слушателем. Быть свидетелем. Быть тем, кто сохранит память о происходящем.

А голос всё говорил и говорил. Он рассказывал истории — одну за другой, без остановки, без пауз. О детстве. О родителях. О школе. Об университете. О любви. О предательстве. О друзьях. О врагах. Он пересказывал сюжеты книг, которые прочитал, и фильмов, которые посмотрел. Он цитировал философов и поэтов, перемежая их цитаты собственными комментариями. Он строил логические конструкции, доказывал теоремы, опровергал аксиомы. Его речь была похожа на симфонию — с темами, вариациями, фугами и рефренами. И над всем этим, как лейтмотив, звучала одна и та же мысль: «Я говорю — значит, я есть».

Прошёл час. Два. Три. Платон потерял счёт времени. Корнелиус стоял у пульта, не шевелясь. Техники застыли, как изваяния. Мониторы показывали нулевую активность мозга, нулевое сердцебиение, нулевую температуру. Тело в барокамере было мертво. Но голос в динамиках был жив.

И вдруг что-то изменилось.

Голос замолк. На полуслове, на середине фразы. Повисла тишина — та самая плотная, звенящая тишина, которую Лютиций так ненавидел при жизни. Платон отнял руки от лица и уставился на стекло. Тело в барокамере лежало неподвижно. Мониторы показывали нули по всем параметрам. Динамики молчали.

— Что случилось? — выдохнул Платон, хотя в смотровой никого, кроме него, не было, и никто не мог его услышать.

А потом динамики ожили снова. Но на этот раз из них донёсся не голос Лютиция. Это был другой голос. Женский. Молодой. С лёгким акцентом — не то прибалтийским, не то скандинавским. Он был едва слышен, словно доносился откуда-то издалека, но каждое слово было разборчиво.

— Я тоже говорила, — произнёс женский голос. — Как и ты. Я думала, что речь спасёт меня. Думала, что если я буду говорить без остановки, смерть отступит. Но смерть не отступает. Она умеет слушать. Она терпеливая. Она слушает, слушает, слушает, а потом, когда ты выдыхаешься, когда у тебя кончаются слова, она берёт тебя за горло и говорит: «Теперь моя очередь». И ты замолкаешь. Навсегда.

Платон похолодел. Он узнал этот голос. Вернее, он не мог его узнать, потому что никогда не слышал его раньше, но он узнал интонации. Так говорила она — бывшая жиличка склепа Лютиция. Та, которая исчезла три месяца назад. Та, которая оставила записи на полях книг и на стенах сектора ноль.

— Ты сейчас думаешь, — продолжал голос, — что ты сильнее меня. Что у тебя больше слов. Что ты гений. Но гениальность — это не преимущество. Гениальность — это уязвимость. Потому что гений говорит быстрее. Он быстрее выговаривается. Он быстрее достигает дна. А на дне — тишина. Та тишина, которую ты так боишься. Та тишина, которая ждёт тебя. Которая ждёт всех нас.

— Кто вы? — произнёс голос Лютиция. Он вернулся — слабый, прерывистый, но всё ещё живой. — Кто вы такая?

— Я — Эльза. Эльза Леманн. Я жила в твоём склепе до тебя. Я тоже была гением. Тоже была болтливой. Тоже думала, что смогу переговорить смерть. Я прошла первую стадию протокола. Прикоснулась к артефакту. Говорила без остановки трое суток. А потом легла в эту самую барокамеру. И умерла. И начала говорить из нулевой точки, как ты сейчас. И говорила, говорила, говорила — пока не поняла, что мой слушатель исчез.

— Слушатель? — голос Лютиция дрогнул.

— Да. Ты ведь понял, да? Ты умный. Ты понял, что речь без слушателя — это просто шум. Чтобы слово было живым, нужен тот, кто его слышит. Мой слушатель был там, в смотровой. Молодой человек. Он поклялся, что будет со мной до конца. Что будет внимать каждому

моему слову. И он внимал. Три дня. Три ночи. А потом уснул. Просто уснул — он был человек, он устал. И в тот момент, когда он закрыл глаза, когда его внимание отключилось от меня, я исчезла. Не сразу. Постепенно. Слова стали пустыми. Речь стала шумом. Шум стал тишиной. А тишина стала мной.

В операционной что-то загудело. Мониторы мигнули. Линия энцефалограммы на секунду дрогнула — не ожила, нет, но дрогнула, как будто сквозь мёртвый мозг прошёл слабый электрический разряд. Корнелиус подался вперёд, вглядываясь в показатели.

— Продолжайте, — прошептал он, хотя его никто не мог услышать. — Продолжайте говорить.

— И теперь я здесь, — сказала Эльза. — В нулевой точке. В нигде. Я не жива и не мертва. Я — голос без тела. Мысль без мозга. Интенция без адресата. Я могу говорить вечно, но меня никто не слышит. Потому что мой слушатель ушёл. Он уволился из «Элизиума» через неделю после моего провала. Сказал, что не может больше здесь находиться. Что кладбище свело его с ума. И он ушёл. А я осталась. В тишине. В пустоте. В вечности.

Лютиций молчал. Платон затаил дыхание. Корнелиус, стоя у пульта, едва заметно улыбался. Он знал, что так будет. Знал с самого начала. Парадокс болтливого мертвеца: ты говоришь, но кто тебя слышит?

— Но у меня есть слушатель, — произнёс наконец Лютиций. — Он здесь. Он не спит. Он слушает.

— Правда? — в голосе Эльзы прозвучала ирония. — Ты уверен, что он слушает? Или он просто смотрит на мониторы и думает о своём? О своей неудаче тридцатилетней давности? О своём ассистенте, который не вернулся? О том, что ты сейчас повторяешь его судьбу? Ты уверен, что он здесь — с тобой, а не там — в прошлом, которое он не может отпустить?

Платон вздрогнул. Эти слова попали точно в цель. Да, он был здесь, в смотровой. Но был ли он полностью здесь? Или часть его сознания блуждала в девяносто четвёртом году, в лаборатории Объединённого института ядерных исследований, где молодой ассистент Игорь лежал в таком же стеклянном гробу, а мониторы показывали нули, а динамики молчали?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.